

ЭХО СКВОЗЬ ВЕКА



Дмитрий Правдин

Дмитрий Правдин

Эхо сквозь века

<https://litres.ru/74628529>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мистическая сага о любви, которая сильнее времени. О выборе между свободой и клеткой. О том, что некоторые зеркала лучше не разбивать.

Реставратор Марк теряет всё за один день: любимую женщину, веру в людей, смысл жизни. Осталось только чёрное венецианское зеркало XVI века и флакон растворителя. Один неосторожный жест — и он падает в его поверхность.

Он просыпается в теле монаха в монастыре, охваченном чумой 1348 года. Это ловушка.

Ведь та, кто разрушила его жизнь в Москве, следует за ним сквозь века. В XIV веке она — игуменья Агния, сжигающая «ведьм» ради спасения душ. В XIX веке — графиня Лидия, пишущая доносы на гувернантку Веру. В стерильном мире 2140 года — биологический ИИ Лири, стирающая чувства у людей.

Три эпохи. Три жизни. Три верных друга, которые жертвуют собой, чтобы дать ему шанс.

Сколько раз можно потерять ту, кого любишь? И хватит ли у реставратора мастерства, чтобы починить то, что разбито навсегда?

Содержание

Историческое фэнтези · Роман в трёх томах	4
Пролог. Венеция, 1590 год	5
Том 1. Исход и Пепел	9
Глава 1. Плёт с оленями	9
Глава 2. Сандал и тишина	25
Глава 3. Чужая кожа	40
Глава 4. Чернила и пепел	63
Глава 5. Нижняя тьма	77
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Дмитрий Правдин

Эхо сквозь века

Историческое фэнтези
· Роман в трёх томах

«Ничто не исчезает бесследно. Всё оставляет слой».

Пролог. Венеция, 1590 год

Мастерская пахла не так, как другие. Здесь не было запаха сырой рыбы с канала или сладкой гнили lagуны. Здесь пахло ртутью, расплавленным оловом и чем-то еще — чем-то металлическим, острым, напоминающим вкус крови на губах после поцелуя.

Алессандро дрожал. Не от холода, хотя ноябрь в Венеции был сырым и пронизывающим. Он дрожал от ожидания. От страха. От той безумной надежды, что заставляла его руки двигаться с точностью хирурга, а разум — балансировать на грани безумия.

Перед ним стояло оно.

Зеркало. Не то, что висело в спальнях дожей или в будуарах куртизанок, отражая красоту, которая увядает к тридцати годам. Это зеркало было другим. Оно было создано не для того, чтобы показывать лицо. Оно было создано для того, чтобы поймать душу.

Рама из черного дуба, покрытая резьбой в виде переплетенных змей, казалась живой в мерцающем свете свечей. Змеи кусали друг друга за хвосты, образуя бесконечный цикл. Уроборос. Символ вечности. Символ того, что конец — это всегда начало.

Алессандро взял кисть. В ней была смесь, которую он готовил три месяца. Смесь из толченого стекла, свинца, сурь-

мы и... другого ингредиента. Ингредиента, который нельзя было купить на рынке Риальто. Который нельзя было найти в аптеках. Который нужно было взять силой.

Он посмотрел на женщину, сидящую в углу мастерской. Элизабетта.

Она спала. Или притворялась спящей. Ее грудь едва поднималась под тонким шелком платья. Волосы, цвета воронова крыла, рассыпались по плечам, как ночь, пролитая на землю. Она была красивой. Страшно красивой. Той красотой, которая не привлекает, а пугает. Которая не зовет, а требует.

Алессандро любил ее. Безумно. Болезненно. Так, как любят только те, кто знает, что потеря неизбежна.

Она хотела уехать. Завтра. С купцом из Флоренции. С человеком, у которого были деньги, но не было души. С человеком, который видел в ней трофей, а не загадку.

Алессандро не мог этого допустить. Не мог отпустить. Не мог позволить ей стать чужой. Стать прошлым. Стать памятью, которая со временем сотрется, выцветет, исчезнет, как акварель под дождем.

Он должен был сохранить ее. Навсегда.

— Прости меня, — прошептал он. Голос был хриплым, сухим, как песок. — Я не хочу причинить тебе боль. Я хочу дать тебе вечность.

Он подошел к ней. Положил руку ей на лоб. Кожа была холодной. Холодной, как мрамор статуй, которые он реставрировал днем. Холодной, как смерть, которая ждала всех

нас.

Алессандро взял скальпель. Острый, тонкий, блестящий в свете свечи.

Он не хотел убивать. Он хотел *сохранить*. Как реставратор сохраняет краску на холсте. Как ювелир закрепляет камень в оправе. Как время сохраняет память в камне.

Он провел лезвием по ладони Элизабетты. Тонкая линия. Капля крови выступила медленно, тяжело, как слеза. Алессандро собрал ее в серебряную чашу. Затем сделал то же самое со своей ладонью. Смешал их крови. Красное с красным. Жизнь с жизнью. Любовь с одержимостью.

Добавил смесь в чашу. Перемешал. Жидкость зашипела, запузырилась, стала черной, как ночь, как смоль, как само зеркало.

Он подошел к стеклу. К той самой поверхности, которая еще не была зеркалом, которая была просто гладким, холодным, пустым пространством.

Нанес смесь. Тонким слоем. Ровно. Аккуратно. Как художник наносит последний лак.

Стекло дрогнуло.

Не физически. Оптически. Поверхность пошла рябью, как вода, в которую бросили камень. Чернота внутри стекла начала двигаться. Кружиться. Всасывать свет свечей, поглощать тени, пожирать пространство.

Алессандро отступил. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, вот-вот разорвет грудную клетку.

В глубине стекла проступило лицо.

Не его. Не Элизабетты. Чье-то третьего. Женского. Бледного. С темными кругами под глазами. С взглядом, полным ужаса и... узнавания.

Женщина в стекле открыла рот. Беззвучно произнесла слово, которое Алессандро почувствовал кожей, а не услышал ушами:

«Найди».

И затем стекло затвердело. Стало черным. Непрозрачным. Глубоким. Как колодец. Как могила. Как ловушка.

Алессандро упал на колени. Плакал. Смеялся. Целовал холодное стекло.

Он сохранил ее. Теперь она никогда не уйдет. Теперь она всегда будет с ним. В этом стекле. В этой черноте. В этой вечности.

Но он не знал, что сохранение — это не любовь. Что вечность — это не жизнь. Что зеркало — это не дом.

Он не знал, что только что создал не сокровище. А проклятие.

Проклятие, которое будет искать своих хозяев сквозь века. Сквозь жизни. Сквозь смерти. Сквозь всё.

Свеча догорела. Тьма заполнила мастерскую. И в этой тьме черное зеркало улыбнулось. Краем губ. Все понимающей улыбкой.

Цикл начался.

Том 1. Исход и Пепел

Глава 1. Плёд с оленями

Декабрь в Москве начался не со снега, а с грязи. Снег выпадал ночью — крупный, пушистый, красивый, как на открытках. Но к утру он превращался в серую, едкую кашу, смешиваясь с реагентами, которые коммунальщики сыпали на дороги с щедростью, граничащей с безумием. Эта каша въедалась в ботинки, цеплялась за подолы пальто, брызгала из-под колёс машин, оставляя на одежде белые разводы, похожие на следы от слёз. Марк ненавидел декабрь. Ненавидел темноту в четыре часа дня, когда солнце садилось, а город даже не успевал толком проснуться. Ненавидел запах мокрой шерсти в метро — тот специфический, тяжёлый аромат, который бывает только в декабре, когда люди кутаются в шарфы и воротники, и воздух в вагонах становится густым, как суп. Ненавидел то, как город сжимался, загоняя людей в бетонные коробки квартир, офисов, мастерских, превращая Москву из открытого пространства в лабиринт закрытых помещений.

Но в этом декабре он ничего не ненавидел. Потому что была Вера.

Она сидела на верстаке в его мастерской, свесив босые но-

ги. Ноги были бледными, с голубоватыми прожилками вен, которые проступали под тонкой кожей. На ней был тот самый дурацкий плед — толстый, вязаный, с вышитыми красными оленями, которого они купили на барахолке в Измайлово три месяца назад. Плед был нелепым — слишком ярким, слишком наивным, с оленями, которые выглядели так, будто их рисовал ребёнок. Но Вера любила его. Она натянула плед до подбородка, как кокон, и пила остывший чай из его кружки с отбитой ручкой. Кружка была белой, с синим узором, который давно стёрся, оставив только призраки цветов.

Мастерская на Бауманской была его убежищем. Подвал в старом доме, когда-то принадлежавшем купцам, теперь арендованный художниками и ремесленниками. Потолки — высокие, сводчатые, с обнажёнными кирпичными арками, которые Марк не стал закрашивать. Стены — неровные, покрытые слоями краски разных эпох, как геологические пласты. Пол — бетонный, холодный, покрытый пятнами от растворителей, лаков, красок. Воздух здесь был особенным — он пах историей. Скипидаром, льняным маслом, старым деревом, пылью веков. Этот запах вьёлся в одежду, в волосы, в кожу. Марк иногда думал, что он сам стал частью этой атмосферы, как экспонат в музее.

Вера рисовала. Не здесь, в мастерской — у неё не было места. Она рисовала дома, в своей съёмной квартире на пятом этаже хрущёвки, а потом приносила работы показать ему. Сегодня она принесла акварели — небольшие листы, трид-

цать на сорок сантиметров, с видами, которых не существовало. Леса, переходящие в воду. Вода, переходящая в небо. Небо, переходящее в землю. Круговорот, замкнутый, бесконечный. Её работы были как сны — текучие, неуловимые, лишённые чётких границ. Она не рисовала реальность. Она рисовала то, что было между реальностями.

— Ты опять используешь скипидар вместо «Пина», — сказала она, глядя, как он склонился над столом. Голос был тихим, с лёгкой хрипотцой — она простудилась неделю назад и всё ещё покашливала. — Я чувствую. У тебя от него руки сохнут. И пахнет так, будто мы в столярной, а не в реставрации.

Марк не поднял головы. Он работал скальпелем — маленьким, острым, с лезвием, которое он сам заточил на специальном бруске. Скальпель снимал микроскопический слой потемневшего лака с фрагмента голландского натюрморта семнадцатого века. Движения были ювелирными. Миллиметр за миллиметром. Под жёлтой патиной времени проступал настоящий цвет — глубокий, насыщенный синий кобальт вазы. Ваза стояла на столе, рядом с тарелкой, на которой лежали очищенные лимоны. Лимоны были написаны так реалистично, что хотелось потрогать их, почувствовать шершавую кожуру, понюхать кислый аромат. Художник умер триста лет назад, но его лимоны всё ещё были живы. Это была магия реставрации — возвращать к жизни то, что казалось мёртвым.

— «Пин» слишком мягкий для этого грунта, — ответил он. Голос звучал глухо из-за медицинской маски, которую он носил, чтобы не дышать парами растворителя. — Если я возьму слабый растворитель, мне придётся давить. А если я давлю, я снимаю лессировку вместе с лаком. Лессировка — это полупрозрачные слои краски, которые создают глубину цвета. Если я её сниму, ваза станет плоской. Как пластиковая. Скипидар резче, но я контролирую испарение. Я могу работать слой за слоем, не трогая то, что под ним.

Он наконец оторвался от лупы. Откинул маску на шею. Посмотрел на неё.

Вера не была красивой в глянцевом, журнальном смысле. У неё был слишком широкий рот, чуть вздёрнутый нос и привычка хмуриться, когда она думала, из-за чего между бровей залегала вертикальная складка. Волосы — тёмно-русые, прямые, всегда собранные в небрежный пучок, из которого постоянно выбивались пряди. Руки — в пятнах акварели, которую невозможно отмыть до конца. Она носила старые джинсы, свитера оверсайз, шарфы, которые вязала сама. Она не следила за модой. Она не следила ни за чем, кроме своего внутреннего мира.

Но когда она смотрела на него, мир вокруг переставал быть серым. Она была акварелью в мире масла. Лёгкой, прозрачной, непредсказуемой. В ней не было ничего тяжёлого, земного. Она была как воздух, как свет, как вода.

— Иди сюда, — она похлопала ладонью по верстаку рядом

с собой. — Хватит ковырять мертвецов. Они подождут. Они ждали триста лет, подождут ещё час.

Марк положил скальпель на магнитную планку. Вытер руки о фартук — плотный, из грубой ткани, покрытый пятнами, которые были как карта его работы. Подошёл. Не сел рядом — встал между её свисающих ног, упираясь бёдрами в край дубового стола. Обнял её колени поверх пледа с оленями. Плед был мягким, тёплым, пахнущим стиральным порошком и чем-то ещё — её запахом. Не духами. Она не пользовалась духами. Её собственным запахом — тёплым, живым, немного мыльным.

— Они не мертвецы, — сказал он тихо. — Они просто уснули под грязью. Под слоями лака, копоты, пыли. Моя работа — разбудить их. Вернуть им то, какими они были задуманы. Художник написал эти лимоны так, чтобы они казались настоящими. А время сделало их мутными, тусклыми. Я снимаю время. Я возвращаю оригинал.

Она наклонилась. Коснулась губами его виска. Пахла акварельной бумагой, дешёвым чаем и чем-то своим, тёплым, домашним. Этот поцелуй был мимолётным, лёгким, как прикосновение крыла бабочки. Но он оставил след — не на коже, а внутри.

— А меня? — спросила она. — Каким ты меня задумал? Вопрос был игривым, но в нём была и серьёзность. Вера часто спрашивала его о том, как он её видит. Не потому что сомневалась в себе. А потому что хотела понять, как она вы-

глядит его глазами. Она не доверяла зеркалам — говорила, что зеркала врут, показывают не то, что есть, а то, что ты хочешь увидеть. Она доверяла только ему.

— Тебя не нужно реставрировать, — он закрыл глаза, вдыхая её запах. — Ты единственный оригинал в моей жизни. Ты не покрыта лаком. Ты не скрыта под грязью. Ты — чистый цвет. Как тот кобальт на вазе. Настоящий.

Это было правдой. Мастерская на Бауманской, арендованная на последние деньги, заваленная холстами, банками с химикатами, книгами по истории искусств, была его бункером. Здесь он прятался от мира, который казался ему слишком громким, слишком быстрым, слишком фальшивым. Люди лгали. Клиенты торговались за каждый сантиметр очищенного холста, пытались обмануть, навязать свою цену. Коллеги подсиживали друг друга ради грантов, заказов, выставок. Музеи требовали невозможного — реставрировать картину за месяц, хотя нормальная работа занимает год. Галеристы хотели, чтобы он подписывал договоры, которые ограничивали его свободу. Всё было пропитано ложью, расчётом, суетой.

А Вера рисовала. Она не пыталась продать свои картины. Она рисовала то, что видела внутри. Странные, текущие пейзажи, где леса переходили в воду, а вода — в небо. Она зарабатывала оформлением витрин и иллюстрациями для детских книг, которых хватало ровно на еду и проезд. Она не хотела большего. Ей не нужны были деньги, слава, призна-

ние. Ей нужно было только одно — чтобы её оставили в покое, дали ей бумагу, краски и время.

Они жили в этой мастерской уже месяц. Её квартира на съёмном этаже оказалась затоплена соседями — прорвало трубу, и вода залила всё: полы, стены, мебель, её акварели. Она пришла к нему в слезах, с мокрыми волосами, в чужом свитере, который ей дал сосед снизу. Марк не стал задавать вопросов. Он просто сказал: «Оставайся здесь». И перевёз её вещи — два чемодана, мольберт, коробки с красками и этот плед. Плед он перенёс первым.

Это было лучшее решение в его тридцатилетней жизни.

Но идиллия, как любой хрупкий пигмент, боялась прямого света. Свет появился в лице Лики.

Лика работала графическим дизайнером в студии, которая занимала этаж над ними. Студия называлась «Визуал Плюс» и занималась тем, что делала логотипы, упаковку, рекламные макеты для мелких фирм. Лика была старшим дизайнером. Она была противоположностью Веры. Точной, выверенной, собранной. Идеальный маникюр — короткие ногти, покрытые прозрачным лаком, чтобы не отвлекали от работы. Волосы уложены так, что ни одна прядь не выбивалась — гладкое каре, которое она подстригала у дорогого стилиста раз в месяц. Одежда — базовые цвета: чёрный, белый, серый, бежевый. Дорогой минимализм, который стоил дорого, но выглядел так, будто это просто хорошая базовая одежда. Она пахла сандалом и чем-то сладковатым, приторным,

как перезревшая слива. Духи назывались «Santal 33» и стоили как половина её зарплаты.

Они сталкивались на лестнице, в общем дворе, где курили, в круглосуточном магазине на углу, куда Марк ходил за кофе и бутербродами. Лика всегда здоровалась первой. Всегда улыбалась. Всегда находила, что сказать.

— У вас свет лучше, — говорила она, садясь в угол с ноутбуком. — Мой монитор врёт в оттенках. Можно я посижу? У меня дедлайн горит, а дома интернет лёг.

Марк кивал, не отрываясь от работы. Ему было всё равно. Он не замечал, как её взгляд скользит по его рукам, по шее, по тому, как он общается с Верой. Не замечал, как она запоминает, какой кофе он пьёт (американо, без сахара), в какое время делает перерыв (в три часа дня), как морщится, когда болит спина (после четырёх часов за столом). Она была как реставратор — внимательной к деталям. Только она реставрировала не картины. Она реставрировала реальность под себя.

Первый звонок прозвенел три недели назад. Вера уехала к сестре в Екатеринбург на выходные — помочь с переездом. Сестра выходила замуж, и им нужно было перевезти мебель из старой квартиры в новую. Вера поехала, потому что не могла отказать — сестра была младше, неопытная, боялась грузчиков, боялась, что что-то разобьётся, потеряется. Вера была той, кто всегда помогал, всегда спасал, всегда был рядом.

Марк остался один. Работал до двух ночи. Заказ был срочным — частный коллекционер хотел получить реставрированную картину к выставке, которая открывалась через неделю. Картина была большой — два метра на полтора — и тяжёлой. Марк таскал её по мастерской, поворачивал под разным углом, чтобы понять, как ложится свет, где скрыты повреждения. Спина ныла. Руки дрожали. Но он не останавливался. Он любил свою работу. Она давала ему контроль над хаосом. Он мог взять что-то разрушенное, грязное, забытое — и вернуть ему жизнь. Это было единственное место, где он чувствовал себя нужным.

Лица спустилась. Принесла две банки энергетика и контейнер с домашней пастой. Паста была в пластиковом контейнере с логотипом ресторана, но Марк не обратил на это внимания. Он был слишком уставлен, чтобы замечать детали.

— Ты себя уморишь, — сказала она, ставя контейнер на край верстака, аккуратно отодвинув банку со скипидаром, чтобы не опрокинуть. — Кто будет будить этих мертвецов, если ты упадёшь? Кто вернёт им жизнь?

Она осталась. Сидела рядом, пока он ел. Смотрела, как он работает. Не мешала. Не разговаривала. Просто была рядом. Иногда задавала вопросы — умные, профессиональные. Она интересовалась техникой реставрации, химией процессов, историей картин. Марк удивился. Он не ожидал, что графический дизайнер будет интересоваться таким. Но она дей-

ствительно интересовалась. Она слушала внимательно, кивала, задавала уточняющие вопросы.

Потом, когда он потянулся, хрустнув шеей, положила руку ему на плечо. Массирующим движением. Профессиональным, почти медицинским. Её пальцы были сильными, уверенными. Они нашли точку напряжения у основания шеи и начали разминать её круговыми движениями.

Марк отстранился. Мягко, но сразу. Он не любил, когда его трогали. Не любил неожиданных прикосновений. Его тело было его инструментом — точным, настроенным, хрупким. Чужие руки нарушали эту настройку.

— Спасибо, Лика. Но я правда должен закончить грунт до утра. Заказчик ждёт. Если я не уложусь в срок, он найдёт другого реставратора. А я не хочу терять клиента.

Она не обиделась. Она улыбнулась. Краем губ. Той самой улыбкой, от которой потом, спустя дни, у него скручивало желудок. Улыбка была не полной — только правый уголок рта приподнимался, создавая асимметрию, которая делала её лицо одновременно привлекательным и тревожным.

— Конечно. Работай. Я просто рядом. Если что-то понадобится — я наверху.

Она ушла. Но оставила после себя запах сандала, который перебивал запах скипидара. И ощущение липкости. Как от плохо смытого лака. Как от чего-то, что прилипло к коже и не оттирается.

Вчера всё рухнуло.

Вера вернулась из Екатеринбурга утром. Поезд пришёл в шесть утра. Она позвонила Марку с вокзала, сказала, что едет, что скучает, что привезла уральские пельмени — сестра налепила, сказала, что это семейный рецепт. Она была весёлой, уставшей, с синяками под глазами, но смеющейся. Она целовала его в щеку, рассказывала, как сестра ругалась с грузчиками, как они пили вино на полу пустой квартиры, как она боялась, что разобьёт зеркало, но всё обошлось.

Марк слушал. И чувствовал, как внутри растёт холод. Потому что час назад, пока Веры не было, приходила Лика.

Она не принесла еду. Не принесла кофе. Она принесла конверт. Крафтовый, плотный, формата А4. Положила его на верстак, там, где лежали кисти Веры. Кисти были в стакане, в воде, чтобы не засохли. Конверт лежал рядом, как приговор.

— Мне жаль, Марк, — сказала она. Голос был тихим, полным того самого, удушающего сочувствия. — Я не хотела вмешиваться. Я правда не хотела. Но я не могу смотреть, как тебя используют. Ты слишком хороший для тех, кто играет в двойные игры. Ты заслуживаешь правды.

Она ушла. Оставив конверт и запах сандала. Запах был таким густым, что казалось, он осел на стенах, на полу, на потолке.

Марк открыл конверт. Внутри лежали фотографии. Распечатанные на хорошей матовой бумаге. Не постановочные — снятые через стекло, из машины, с расстояния. Качество

было не идеальным, но достаточно хорошим, чтобы узнать лица.

Вера в баре. С каким-то парнем. Парень держит её за талию. Вера запрокинула голову, смеётся. Её волосы рассыпались по плечам. На ней та самая куртка — зелёная, с меховым воротником, которую Марк подарил ей на Новый год. Другое фото: они выходят из дверей отеля. Вера поправляет волосы. Парень курит рядом. Третье: сидят в машине, лица близко. Парень целует её в щёку. Вера не отстраняется.

Марк стоял над столом. Смотрел на эти глянцевые прямоугольники. Его мозг, привыкший анализировать слои краски, искать следы ретуши, подделки, поздние записи — замер. Он не искал подвоха. Он увидел Веру. Узнал её куртку. Узнал её смех, даже на статичной картинке. Узнал её привычку запрокидывать голову, когда смеётся.

И почувствовал, как что-то внутри хрустнуло. Не сердце. Каркас. Тот самый внутренний каркас, на котором держалось его доверие к миру, к людям, к ней. Каркас, который он строил годами, который казался незыблемым.

Когда Вера вошла, весёлая, живая, пахнувшая морозом и поездом, он не обнял её. Он стоял у верстака. Руки были в карманах халата. Спина прямая. Лицо — каменным.

— Что случилось? — она осеклась на полуслове. Бросила сумку на диван. — Марк? Ты белый как мел. Ты заболел?

Он молча указал на стол. На конверт. На фотографии, разложенные ровным рядом, как образцы пигментов, как экс-

понаты в музее предательства.

Вера подошла. Посмотрела.

Марк ждал всего. Крика. Слёз. Оправданий. Попыток схватить его за руки, объяснить, убедить. Он был готов к скандалу. К слезам. К тому, что она признается, что это правда, что она изменила ему, что всё было ложью.

Но она просто побелела. Костяшки пальцев, опустившихся на край стола, стали белее бумаги. Она смотрела на снимки долго. Секунд тридцать. Для Марка они растянулись в вечность. Она не плакала. Не кричала. Она просто смотрела. Как будто пыталась понять, что она видит. Как будто это был сон, от которого нужно проснуться.

— Ты поверил? — спросила она наконец. Голос был тихим. Лишённым интонаций. Ровным, как поверхность льда.

— А что тут не верить? — ответил он. И сам не узнал свой голос. Ровный. Мёртвый. Голос человека, который констатирует факт разрушения картины. — Берлинский отель. Бар. Машина. Это ты. Это твоя куртка. Это твой смех.

Вера медленно подняла на него глаза. В них не было вины. Там был абсолютный, вымораживающий ужас. Ужас человека, который посмотрел в лицо тому, кого любил, и увидел там чужака. Кого-то, кто не верит. Кого-то, кто уже принял решение.

— Это Саша, — сказала она. Так же тихо. — Двоюродный брат моей подруги из Берлина. Он прилетел на один день. Мы пили кофе. Он обнимал меня, потому что я плакала —

сестра поругалась с мужем, и я переживала за неё. Мы выходили из отеля, потому что там был туалет, а в кафе сломался. Марк... это монтаж. Или вырвано из контекста. Кто тебе это дал? Откуда эти фото?

— Это имеет значение? — Марк слышал себя со стороны. Слышал, как говорит слова, которые режут. Но не мог остановиться. Боль от фотографий была такой острой, такой невыносимой, что единственной защитой стала глухота. Эмоциональная анестезия. Он отключил чувства, чтобы не чувствовать.

— Имеет! — она впервые повысила голос. Шагнула к нему. — Марк, посмотри на меня! Посмотри на свет! Ты же реставратор, ты видишь, где ложь, где подделка! Посмотри на тени на этих фото! Посмотри на углы! Это не я! Это не то, что ты думаешь!

Но он не смотрел. Он отвернулся. Закрыв глаза. Он не мог смотреть. Потому что если он посмотрит — если он действительно посмотрит, как реставратор, как профессионал — он увидит то, что она говорит. Он увидит, что тени не совпадают. Что углы искажены. Что это подделка. А он уже решил. Уже принял. Уже не мог отменить.

— Собирай вещи, Вера.

Тишина. Такая плотная, что звенело в ушах. Такая тяжёлая, что казалось, она раздавит их обоих.

— Что?

— Собирай вещи. Плед. Краски. Уходи. Мне нужно рабо-

тать. Я не могу... я не могу сейчас. Я не могу смотреть на тебя.

Он слышал, как она дышала. Частыми, рваными вдохами. Ждал, что она ударит его. Или бросится на шею. Или начнёт кричать. Что угодно — только не это молчание.

Она не сделала ни того, ни другого.

Через час он услышал звук застёгиваемой молнии на сумке. Звук шагов. Щелчок ключей, положенных на кухонный стол. Дверь открылась. Закрылась.

Марк остался один. Среди банок с растворителями, старых холстов и фотографий, которые теперь казались ему приговором, вынесенным самому себе.

Он подошёл к столу. Взял одну фотографию. Поднёс к настольной лампе. Посмотрел на просвет.

И тогда, сквозь пелену боли, сквозь шок, его профессиональный глаз заметил это. То, что он должен был увидеть сразу. То, что он не увидел, потому что был слишком ослеплён болью.

Тени. На втором плане, у стены бара, тень от фигуры Веры падала под углом в сорок пять градусов. А тень от мужчины — под углом в семьдесят. Два разных источника света, сведённых в одну композицию. Это физически невозможно. Если солнце светит справа, все тени падают в одну сторону. А здесь — тени от разных объектов падали в разные стороны.

И пиксели на границе их силуэтов. Едва заметное, но для

его trained eye очевидное «мыло». Артефакты клонирования штампа в Photoshop. Когда ты берёшь кусок одного изображения и вставляешь в другое, границы не совпадают идеально. Остаются следы — размытость, несовпадение текстур, искажение света.

Фотографии были подделкой. Грубой, талантливой, но подделкой. Кто-то потратил часы, может быть, дни, чтобы создать их. Чтобы свести два разных кадра в один. Чтобы создать иллюзию.

Марк уронил снимок на стол. Посмотрел на дверь.

Он понял. Он всё понял. Лика. Это была Лика. Только она имела доступ к его жизни. Только она знала, как выглядит Вера. Только она могла создать такую подделку — она же графический дизайнер, она работает с изображениями каждый день.

Но было поздно.

Глава 2. Сандал и тишина

Прошло три дня. Или четыре. Время в мастерской потеряло форму, превратившись в вязкую, серую субстанцию, похожую на старый, засохший клей, который невозможно отмыть ни растворителем, ни водой. Оно застыло между моментами, повисло в воздухе густой пылью, оседающей на ресницах, забивающей ноздри, делающей каждый вдох тяжёлым усилием.

Марк не уходил. Не открывал окна, хотя воздух стал спертым, пропитанным запахами разложения — не тел, а надежд. Не включал верхний свет, довольствуясь одной настольной лампой с гибкой ножкой, которая выхватывала из темноты лишь верстак и стоящее на нём чёрное зеркало. Лампа гудела — тихим, назойливым звуком, как муха, бьющаяся о стекло. Этот гул стал фоном его существования, ритмом его безумия.

Телефон лежал экраном вниз на полу, среди пустых банок из-под энергетиков (их было уже семь), скомканных чеков от круглосуточной аптеки (обезболивающие, снотворное, витамины — всё, что могло заглушить боль или усыпить сознание) и фантиков от шоколада, который он ел, чтобы хоть как-то поддержать уровень сахара в крови. Телефон вибрировал. Гас. Снова вибрировал. Марк знал, кто звонит. Он видел имена на экране, когда телефон переворачивался сам

по себе от вибрации: «Мама», «Тимур», «Лика».

Тимур. Друг, с которым они делили съёмную квартиру до того, как Марк переехал в мастерскую, решив, что ему нужно пространство для работы, а Тимуру — покой от его вечных ночных бдений. Тимур приходил вчера. Долбил в железную дверь кулаком, так что дрожали петли.— Марк! Брат! Открой! Я борщ принёс, ты ж сдохнешь там! Она мне написала, что уехала к сестре, что ты её выгнал! Марк, открой, сука, или я замок срежу болгаркой! Я серьёзно! У меня есть знакомый слесарь, он приедет через десять минут!

Марк сидел на полу, прислонившись спиной к верстаку, и молчал. Он не мог объяснить Тимуру. Не мог сказать вслух: «Я поверил монтажу. Я уничтожил единственное, что имело смысл, потому что испугался боли. Потому что моя гордость оказалась сильнее любви». Слова были слишком тяжёлыми. Они не пролезали в горло, застревали где-то между голосовыми связками и языком, превращаясь в ком, который давил на дыхательное горло, мешая говорить, дышать, жить.

Тимур ушёл, матерясь. Пообещал больше не звонить, пока Марк «не проспит свою дурь». Но Марк знал: Тимур вернётся. Тимур был таким — он не бросал друзей, даже если те вели себя как идиоты. Это раздражало Марка ещё больше. Чужая преданность казалась ему сейчас упрёком.

Мать оставляла длинные, панические голосовые, которые Марк удалял, не дослушивая до конца. Её страх был ещё одним слоем грязи на картине, которую он пытался очистить,

но не мог. «Сынок, ответь! Что случилось? Вера звонила, плакала, сказала, что ты её выгнал! Марк, это неправда? Скажи, что это неправда! Ты же любишь её!» Голос матери дрожал, срывался на крик, потом на шёпот. Марк удалял сообщения одно за другим. Каждое удаление было маленьким актом самоуничтожения.

А потом пришла Лика.

У неё был ключ. Запасной, который Марк дал ей полгода назад, когда уезжал в Питер на неделю на конференцию реставраторов и попросил поливать фикус. Фикус давно засох — Марк забыл о нём в первую же неделю после возвращения Веры, а потом и вовсе перестал замечать растения. Но ключ остался. Лика хранила его как талисман. Как доказательство того, что она имеет право входа в его жизнь.

Дверь скрипнула. В щель ударил свет из коридора подъезда, резанув по глазам, привыкшим к полумраку. Лика вошла тихо. Привычка. Она вообще делала всё тихо, так, чтобы мир подстраивался под её шаги, а не наоборот. Она не хлопала дверью, не стучала каблуками, не шумела пакетами. Она появлялась как призрак, как тень, как мысль, от которой нельзя избавиться.

На ней было бежевое кашемировое пальто. Идеально сидящее. Ни пылинки. Ни складки. Волосы уложены в гладкое каре. Макияж — лёгкий, незаметный, но подчеркивающий глаза. Она выглядела так, будто только что вышла из салона красоты, а не из метро в грязный подъезд старого дома.

Она оглядела мастерскую — перевёрнутый табурет, мусор на полу, полумрак, банки с химикатами, которые стояли не на своих местах. Не поморщилась. Просто зафиксировала. Как фотограф фиксирует кадр перед съёмкой.

— Ты не ешь, — сказала она. Не вопрос. Констатация. Она поставила на свободный угол стола пакет из супермаркета. — Я принесла бульон. Куриный. Легкий. И хлеб. Цельнозерновой. Тебе нужны силы.

Марк не ответил. Он сидел на том же месте, на полу. Смотрел в одну точку — на трещину в бетоне, которая шла от угла к центру комнаты. Трещина была похожа на молнию. Или на разлом в его жизни.

Лика сняла пальто. Аккуратно повесила на спинку стула, который стоял у стены. Подошла к нему. Присела на корточки. От неё пахло сандалом. Тяжёлым, удушливым, заполняющим лёгкие так, что не оставалось места для кислорода. Этот запах теперь ассоциировался у Марка не с духами. С конвертом. С крафтовой бумагой. С тенями, падающими под разными углами. С предательством.

Она протянула руку. Коснулась его волос. Погладила. Медленно, собственнически. Её пальцы были холодными. Идеальными. Без единого изъяна. — Я же говорила, Марк, — прошептала она. Голос был мягким, обволакивающим, как бархат. — Я предупреждала. Она не стоит тебя. Ты слишком сложный для неё. Слишком глубокий. Она поверхностная, как акварель. Смывается первым дождём. А ты... ты масло.

Ты вечность. Ты слоистая структура. Тебя нужно изучать годами, чтобы понять. Я всегда была рядом. Я видела, как ты работаешь. Как ты смотришь на вещи. Как ты видишь суть. А ты не видел меня. Ты смотрел сквозь меня.

Её пальцы скользнули по его щеке. Холодные. Идеальные. Оставляющие след, который невозможно стереть.

Внутри Марка не было злости. Злость требует энергии, топлива. У него осталось только истощение. Глухая, свинцовая тошнота, которая поднималась из желудка, заполняла грудь, давила на горло. Он знал, что фотографии — монтаж. Он знал, что это сделала она. Его мозг, обученный видеть подделки, собрал улики за минуту. Тени. Пиксели. Свет. Логика. Но знание не отменяло того факта, что он выгнал Веру. Не отменяло звука застёгиваемой молнии. Не отменяло ключей на столе. Не отменяло её взгляда — того самого, полного ужаса и непонимания.

Он совершил ошибку. Неизменную. Фатальную. И Лика использовала эту ошибку, чтобы войти в образовавшуюся пустоту. Как вода заполняет трещину в камне, расширяя её, разрушая структуру изнутри.

— Не трогай меня, — сказал он. Голос вышел сиплым, рваным, как старая ткань. Он попытался отстраниться, но сил не было. Тело было тяжёлым, как свинец.

Но Лика не обиделась. Она улыбнулась. Краем губ. Улыбкой человека, который знает, что капкан уже захлопнулся, и добыча может дёргаться сколько угодно — пружина уже

сработала, механизм запущен.— Хорошо. Я просто посижу. Я буду рядом. Тебе не нужно ничего делать. Не нужно говорить. Не нужно объяснять. Просто позволь мне быть здесь. Позволь мне позаботиться о тебе. Ты один. Тебе плохо. Я могу помочь.

Она встала. Пересела в кресло в углу — то самое, старое, кожаное, которое Марк купил на блошином рынке. Достала книгу. Начала читать. Терпеливая. Всепрощающая. Паук, ждущий, пока муха окончательно выбьется из сил, перестанет биться о паутину и примет свою судьбу.

Так продолжалось сутки. Она приходила утром. Приносила еду, которую он не ел. Мыла его кружки, которые он не использовал. Сидела в углу. Читала. Иногда подходила, трогала его плечо, поправляла плед (не тот, с оленями — тот Вера забрала, а старый, рабочий, серый, который лежал на диване). Она создавала быт. Создавала присутствие. Вытесняла воспоминания о Вере запахом сандала и тихим шелестом страниц.

Марк лежал на полу. Смотрел в потолок. Считал трещины. Одна, две, три... Десять. Двадцать. Он терял счёт. Время текло медленно, как смола. Каждую секунду нужно было проживать отдельно, с усилием, преодолевая сопротивление воздуха.

На четвёртый день Марк понял, что сходит с ума.

Не метафорически. Физически. Тело начало отказывать. Руки тряслись так, что он не мог удержать карандаш, если

пытался что-то написать. Сердце билось неровно, с провалами, от которых темнело в глазах, появлялись чёрные пятна, которые плясали перед глазами, как мушки. Голова была набита ватой и битым стеклом. Мысли путались, рвались, исчезали. Депрессия перестала быть настроением. Она стала физиологией. Кортизол разъедал сосуды. Адреналин истощал надпочечники. Отсутствие сна галлюцинировало реальность. Стены дышали. Пол качался. Тени шевелились.

Ему казалось, что стены мастерской сжимаются. Что картины, прислонённые к стенам, шевелятся, меняют сюжеты. Что натюрморт с лимонами превращается в натюрморт с черепами. Что портрет неизвестной дамы начинает плакать кровью. Что запах скипидара стал гуще, превратился в жидкость, в которой он тонет, которая заполняет лёгкие, мешает дышать.

Нужно было что-то делать. Любое механическое действие. Работа. Рутинa. То, что возвращает контроль. То, что даёт ощущение власти над хаосом. Если он не может контролировать свою жизнь, он должен контролировать хотя бы кусок холста. Хотя бы слой лака.

Он заставил себя встать. Ноги подкосились, он оперся о верстак. Дерево было холодным, шершавым. Опора. Реальность. Лика подняла голову от книги. В её глазах мелькнула тревога. Не забота — тревога контролёра, видящего, что объект выходит из зоны видимости, начинает действовать непредсказуемо.

— Тебе нужен врач, Марк, — сказала она. Встала. Подошла ближе. — Ляг. Я вызову скорую. Ты бледный. У тебя температура.

— Нет, — он прошипел. Голос был чужим. Хриплым. — Мне нужно работать. Заказ. Я сорвал сроки. Клиент ждёт. Если я не закончу, он заберёт картину. И деньги. Мне нужны деньги.

Это была ложь. Клиент уже звонил, ругался, угрожал судом. Но Марку было всё равно. Ему нужно было занятие. Ему нужно было чувствовать, что он ещё способен на что-то. Что он ещё человек, а не животное, ползающее по полу.

Он посмотрел на верстак. Там, прислонённое к стене, стояло оно. Чёрное зеркало.

Он привёз его из Флоренции два месяца назад. Венецианское стекло, шестнадцатый век, предположительно из палатцо какого-то мелкого дожа, который любил смотреть на себя в темноте. Заказчик — частный коллекционер из Москвы, платил бешеные деньги за консервацию. Зеркало было уникальным. Почти чёрное, тяжёлое, в раме из потемневшего дуба, покрытого резьбой, похожей на переплетённые змеиные тела. Змеи кусали друг друга за хвосты, образуя бесконечный цикл. Уроборос. Символ вечности. Символ того, что конец — это начало.

Тогда, в шестнадцатом веке, такие зеркала делали, добавляя в амальгаму свинец или сурьму. Стекло не отражало свет, а поглощало его. Считалось, что они показывают не ли-

цо, а душу. Или будущее. Чушь, конечно. Марк был реставратором, а не мистиком. Он работал с химией, скальпелями и кистями. Он верил в материалы, в процессы, в законы физики.

Но сейчас... Сейчас обычные зеркала в мастерской он перевернул лицом к стене. Не мог видеть себя. Не мог смотреть в глаза человеку, который позволил разрушить всё. Не мог видеть своё отражение — бледное, измождённое, с впалыми глазами и щетиной. А чёрное зеркало не отражало. Оно просто стояло, глубокое, как колодец. Как вход в другое измерение.

Марк сел на табурет. Сгорбился. Позвонки торчали под тонкой футболкой, как чётки. Как позвонки скелета, который скоро станет экспонатом.

— Что ты делаешь? — Лика встала. В её голосе впервые прозвучала настоящая тревога. Не забота — страх потери контроля. — Тебе нельзя работать с реактивами в таком состоянии. Ты упадёшь. Ты отравишься. Ты умрёшь.

— Выйди, — сказал Марк. Не повернув головы. Голос был тихим, но твёрдым.

— Марк...

— Выйди. Пожалуйста. Оставь меня одного. Мне нужно работать. Это моя работа. Моя жизнь. Уйди.

Она замерла. Посмотрела на него. Взвесила. Решила, что давление сейчас сломает его окончательно, а ей нужен живой, подчинённый Марк, а не труп. Труп ей не нужен. Ей ну-

жен он. Живой. Страдающий. Зависимый.

Она взяла пальто. Надела. Поправила волосы.— Я буду за дверью. Если тебе станет плохо — стучи. Я услышу. Я помогу.

Дверь закрылась. Щёлкнул замок. Марк остался один.

Тишина обрушилась на него. Настоящая. Без запаха сандала. Без шелеста страниц. Без присутствия другого человека. Только пыль, скипидар и холод. Холод, который шёл от стен, от пола, от самого воздуха.

Он посмотрел на зеркало. На раму. Дерево было сухим, потрескавшимся от времени. В нижней части, где резьба изображала хвост змеи, скопилась вековая грязь. Окислы, копоть, воск, пыль столетий. Нужно было снять их, не повредив патину дерева. Пatina — это благородный налёт времени, который нельзя удалять. Грязь — можно и нужно.

Руки дрожали. Он взял флакон с растворителем. Старый рецепт, на основе скипидара, этанола и чего-то ещё, едкого, что он сам намешал, пытаясь подобрать состав для снятия специфических лаков с деревянных рам. Жидкость была тёмно-янтарной. Пахла резко, химически, опасно.

Он нанёс раствор на ватный тампон. Механически. Раз, два, три. Движения реставратора, въевшиеся в мышечную память за пятнадцать лет работы. Тампон коснулся дерева. Грязь начала отдавать. Растворитель разъедал окислы, поднимал копоть, растворял воск.

Запах усилился. Скипидар, старое дерево, пыль. И что-

то металлическое. Как запах крови изо рта после драки. Как запах монет, которые долго держали в руке.

Марк кашлянул. Глаза заслезились. Испарения в закрытой комнате без вентиляции били по мозгу. Голова закружилась. Он попытался отодвинуться, но табурет скрипнул. Он потерял равновесие. Пальцы соскользнули с рамы, и он случайно провёл ими по свежеочищенному участку дерева. Прямо по тому месту, где торчала старая, почерневшая заноза, которую он не заметил.

Кожа разошлась. Не сильно. Но достаточно. Он даже не дёрнулся. Боль была глухой, далёкой. Он просто посмотрел, как на тёмном дереве выступает крошечная, почти невидимая капля крови.

Капля упала на раму.

И не впиталась.

Марк замер. Он смотрел, как его кровь лежит на дубе, и от неё идёт едва заметный пар. Пар, который искажал воздух, делал его волнистым, как над раскалённым асфальтом. Растворитель. Его кровь. Испарения. Химическая реакция? Магия? Галлюцинация?

Он поднял глаза на само стекло.

Чёрное зеркало не отражало мастерскую. Оно не отражало пустые банки, перевёрнутые холсты, тусклую лампу под потолком. Оно не отражало его лицо.

Оно было глубоким. Не плоским, как стекло, а объёмным, как колодец, заполненный жидкой ночью. И в этой ночи что-

то двигалось. Не образы. Ощущение движения. Холодный сквозняк ударил Марку в лицо, хотя окна были наглухо закрыты, форточка покрашена. Сквозняк пах не декабрьской Москвой. Не реагентами. Не грязью.

Он пах сырой землёй. Дымом костров. Гниющими яблоками. Чем-то кислым, тошнотворным. Запахом болезни. Запахом чумы.

— Бред, — прошептал Марк. — Белая горячка. Недосып. Токсическое отравление парами. Мне нужно открыть окно. Мне нужно выйти на воздух.

Он попытался встать, но ноги не слушались. Они стали ватными, чужими. Сердце колотилось где-то в горле, частыми, рваными ударами, как птица в клетке. Боль в груди — тупая, давящая, знакомая по последним суткам — вдруг вспыхнула так ярко, что он согнулся пополам. Потеря Веры. Предательство Лики. Собственная ничтожность. Вся эта боль, которую он копил, прятал, глушил тишиной, вдруг сконцентрировалась в одной точке. В виске. В сердце. В душе.

И зеркало откликнулось.

Чёрная поверхность пошла рябью, как вода, в которую бросили камень. Рябь расходилась кругами, и в центре этих кругов проступал свет. Не электрический. Не холодный, белый свет лампы. Тусклый, желтоватый, дрожащий. Свет восковой свечи. Свет, который колеблется от дыхания.

Марк хотел закрыть глаза. Хотел отвернуться. Хотел убе-

жать. Но он смотрел. Он не мог отвести взгляд. Он видел, как в глубине этого невозможного колодца проступают очертания каменных стен. Узких, грубо тёсанных. Видел арочный проём. Видел тень, метнувшуюся по стене. Тень человека? Животного? Демона?

Его палец, порезанный, кровоточащий, сам потянулся к стеклу. Не к раме. К самой поверхности. К чёрной глубине.

«Если это смерть, — подумал он вяло, без настоящего страха, потому что страх уже исчерпал себя, — то хоть что-то изменится. Хоть что-то будет настоящим. Хоть что-то будет отличаться от этой серой, липкой лжи».

Кончик его указательного пальца коснулся чёрного стекла.

Оно не было твёрдым. Оно поддалось, как плотная, ледяная плёнка воды. Как поверхность замерзшего озера, которая вот-вот треснет. Холод мгновенно обжёг кожу, пополз вверх по руке, впиваясь в кости, в мышцы, в нервы. Холод, который шёл не снаружи, а изнутри. Из самого стекла. Из той глубины, которая звала его.

Марк попытался отдёргнуть руку, но зеркало держало его. Не физически. Не силой сцепления. Оно тянуло его боль. Тянуло ту самую, свинцовую, невыносимую тоску, высасывая её из груди, как вакуумный насос, как пылесос, который засасывает пыль. Оно питалось его страданием.

Табурет опрокинулся с грохотом. Марк упал вперёд, ударившись виском о тяжёлую дубовую раму. Вспышка боли в

голове — белая, ослепительная, как вспышка фотоаппарата. Из рассечённой кожи хлынула кровь, стекая по щеке, падая прямо в чёрную рябь стекла.

Кровь смешалась с растворителем. С паром. С болью.

И стекло расступилось.

Не разбилось. Не треснуло. Расступилось, как шторы, которые раздвигают руками. Как вода, которая расступает перед Моисеем.

Мир мастерской — запах растворителя, гул холодильника, тусклая лампа, пыль, банки, щеки — оборвался, словно кто-то выдернул шнур из розетки. Звук исчез. Свет исчез. Реальность исчезла.

Марк почувствовал, как пол уходит из-под ног. Он падал. Не вниз. Не на бетон. Вперёд. В глубину. Сквозь ледяную, густую темноту, которая ревела ему в уши звуками, похожими на тысячи голосов, говорящих одновременно на непонятных языках. Голоса шептали, кричали, молили, проклинали.

Холод пронзил его насквозь. Лёгкие сжались. Он не мог вдохнуть. Воздуха не было. Была только темнота. И боль. И падение.

Последнее, что он увидел, прежде чем сознание померкло, — это отражение. Но не своё. В черноте мелькнуло женское лицо. Бледное, с тёмными кругами под глазами, с расчёпанными волосами. Лицо Веры? Или кого-то другого? Он не знал. Но губы женщины в зеркале беззвучно шевельнулись, произнося слово, которое он почувствовал кожей, а не

услышал ушами. Слово, которое вибрировало в каждой клетке его тела:

«Найди».

А потом тьма сомкнулась. И Марк перестал существовать в мире, где время течёт вперёд. Где причины ведут к следствиям. Где любовь можно потерять из-за поддельных фотографий.

Он исчез.

Глава 3. Чужая кожа

Сознание возвращалось не вспышкой, а медленно, слоями, как проступающая под растворителем краска на старом холсте. Сначала — ощущение веса. Не тяжести тела, а давления. Что-то давило на грудь, на виски, на сами мысли. Не физически — ментально. Словно воздух вокруг был гуще, плотнее, насыщеннее чем-то, что не позволяло разуму развернуться полностью. Давление было таким сильным, что казалось, будто череп вот-вот треснет от внутреннего напряжения.

Затем — звук.

Не гул холодильника. Не тиканье часов. Не шум машин за окном мастерской. Это было пение. Низкое, монотонное, лишённое мелодии в привычном понимании. Множество мужских голосов, слитых в единый, тягучий поток латинских гласных, вибрирующий в самом воздухе, в каменных стенах, в костях. *Kyrie eleison... Christe eleison...* Звук не долетал извне — он исходил отовсюду. От стен. От пола. От самого пространства, пропитанного веками молитв, страха и покаяния. Этот звук был частью архитектуры монастыря, как кирпич или раствор.

Марк попытался открыть глаза. Веки слипались. Ресницы были тяжёлыми, склеенными засохшей слизью, потом, пылью. Он моргнул. Раз. Другой. Третий. Мир проступил

сквозь пелену медленно, неохотно, как картина, которую долго очищали от грязи.

Темнота. Но не абсолютная. Где-то высоко, в каменном своде, мерцал желтоватый, дрожащий огонёк. Свеча. Или лучина. Живое пламя, дающее больше копоти, чем света, выхватывающее из мрака фрагменты грубо тёсаного камня, влажных стен, деревянных балок, почерневших от времени, дыма и влаги. Воздух был густым, вязким. Им трудно было дышать. Каждый вдох требовал усилия, как подъём по крутой лестнице.

Он лежал. На чём-то жёстком, колючем, неровном. Не матрас. Не пол мастерской с его холодным бетоном. Солома. Прелая, спрессованная, впивающаяся в тело через тонкую ткань. Солома пахла сыростью, мышами, чем-то органическим, разлагающимся.

Ткань.

Марк попытался пошевелить рукой. Движение вышло вялым, заторможенным, словно он плыл в густом киселе, в смоле. Рука послушалась, но это была не его рука. Он почувствовал это не глазами — кожей. Ощущениями. Пальцы были короче. Костяшки шире, грубее. Кожа на них — шершавой, покрытой мозолями не от скальпеля и кисти реставратора, а от черновой работы: таскания ведер с водой, рубки дров топором, переписывания пергаментов часами без остановки, когда пальцы стирались до крови. На запястье пульсировала жилка, тоньше, чем у него, но бьющаяся чаще, тре-

возжнее.

Он поднял руку перед лицом. В полутьме увидел силуэт. Узкая кисть. Длинные, но крепкие пальцы. Ногти обгрызены до мяса, неровные, грязные. На среднем пальце правой руки — глубокая, незаживающая борозда от постоянного давления пера. Борозда, которая стала частью анатомии.

Это не моя рука.

Мысль прозвучала в голове чётко, холодно, как диагноз патологоанатома. Но тело не отреагировало паникой. Оно просто приняло факт, как принимает боль или холод. Потому что это тело знало эту руку. Знало каждую мозоль, каждую трещину, каждую занозу, каждый шрам. Оно жило с этой рукой девятнадцать лет.

Матвей.

Имя всплыло не из памяти Марка. Оно проявилось из глубины чужого сознания, как пузырь на поверхности болота, наполненного газами разложения. Брат Матвей. Девятнадцать лет. Послушник-переписчик монастыря Святого Креста. Сын крестьянина, отданный в монастырь за грехи отца. Тот, кто боится Игуменнии. Тот, кто дрожит при виде крови. Тот, кто верит, что страдание очищает.

Марк закрыл глаза. Попытался нащупать себя. Настоящего. Тридцатилетнего реставратора из Москвы, упавшего в чёрное зеркало. Того, кто любил Веру. Кто ненавидел Лиду. Кто знал, что такое интернет, кофе, метро, антибиотики. Но там, где должна быть личность, зияла пустота, заполнен-

ная чужими воспоминаниями, чужими страхами, чужой мышечной памятью. Он был как слой лака, нанесённый на старую, потрескавшуюся картину: форма сохранилась, контуры узнаваемы, но основа была другой. Чужой. Враждебной.

Кома, подумал он. Токсическое отравление парами растворителя. Удар виском о раму. Я лежу на полу в мастерской, и мой умирающий мозг генерирует галлюцинацию на основе прочитанных книг по истории Средневековья. Это сон. Кошмар. Нужно проснуться.

Он пытался убедить себя в этом с яростью утопающего, цепляющегося за соломинку. Да. Всё логично. Химия. Кровь. Боль. Мозг, лишённый кислорода, рисует кошмар. Нужно просто ждать. Ждать, пока Тимур выбьет дверь. Пока приедет скорая. Пока капельница вернёт его в реальность, в мир, где есть законы физики, а не магия.

Но холод не позволял верить.

Холод был настоящим. Он пробирал сквозь одежду. Одежду? Марк скосил глаза вниз. На нём не было футболки. Его тело — нет, тело Матвея — было закутано в грубую, неостриженную шерсть цвета запёкшейся крови. Ряса. Верёвка на поясе впивалась в живот. Живот, который был другим: молодым, истощённым постом, с выступающими рёбрами, которые можно было пересчитать пальцами, но с кожей, которая чувствовала каждое прикосновение ткани острее, чем его собственная. Кожа была живой. Слишком живой.

Рядом кто-то застонал.

Звук был тихим, булькающим, переходящим в сиплое, хриплое дыхание. Марк повернул голову. Движение отозвалось вспышкой боли в виске — там, где он ударился о раму. Рассечённая рана ныла тупо, знакомо. Пульсировала в такт сердцу. Но голова была другой. Меньше. Легче. Волосы — коротко остриженные, жёсткие, как щетина.

На соседних нарах, на расстоянии вытянутой руки, лежал человек. В полутьме Марк видел только силуэт. Маленький, скрюченный, накрытый тем же бурым тряпьем. Из-под края ткани торчала рука — тонкая, синюшная, с почерневшими ногтями. Рука мертвеца? Нет. Живого, но почти мертвого.

И пятна.

Даже в тусклом свете лучины он разглядел их на шее лежащего. Тёмные, багрово-чёрные, размером с монету. Они вздувались над кожей, словно под ней наливались кровью шары. Бубоны. Чумные бубоны.

Слово всплыло из памяти Марка-реставратора не как термин из учебника, а как физический удар. Как пощёчина. *Yersinia pestis*. Чума. 1348 год. Европа задыхается от собственной крови. Города пустеют. Деревни вымирают. Люди сжигают друг друга заживо, чтобы умиловить Бога.

Нет. Это моя голова. Мой мозг умирает и подкидывает картинки из энциклопедий. Это бред. Галлюцинация.

Но мозг, даже умирающий, не умеет генерировать такой холод. Каменный пол тянул из тела всё тепло. Воздух был

густым, влажным, насыщенным испарениями больных тел. Запахом пота, мочи, гноя, ладана. Где-то капала вода. Монотонно, сводя с ума: *кап... кап... кап...* Как в мастерской, когда протекала крыша. Только здесь вода пахла не ржавчиной, а смертью.

Дверь — тяжёлая, дубовая, окованная железом — закрипела. В щель ударил свет, чуть ярче того, что был внутри. Свет факела? Лучины? Вошёл человек. Высокий, широкий в плечах. На нём было такое же бурое одеяние, но поверх него — накидка с капюшоном, скрывающая лицо. В руках он держал глиняную миску. От миски шёл пар. Пар пах едой. Реальной, горячей едой.

Человек подошёл ближе. Лучина осветила его лицо. Молодое, обветренное, с густой, неухоженной бородой рыжеватого цвета. Глаза — светлые, серые, уставшие. Глаза солдата, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться чему-либо. Глаза человека, который знает цену жизни, потому что видел, как легко её потерять.

— Очнулся, брат Матвей? — сказал он.

Марк услышал слова. И не услышал.

Человек говорил не по-русски. Он говорил на языке, который Марк никогда не слышал вживую: вязкая смесь вульгарной латыни и какого-то местного наречия, гортанного, с твёрдыми согласными, похожими на камни, которые катаются во рту. Старофранцузский диалект? Народная латынь? Провансальский? Марк не знал этого языка. Не учил его. Не

мог знать. В школе он учил английский. В университете — немного итальянский для работы с источниками. Но не это.

Но он **понял**.

Не перевёл в голове. Не подобрал эквиваленты. Слова легли прямо в сознание, минуя барьер перевода, как родные. «*Очнулся, брат Матвей?*» — это было не звуковой волной, которую нужно декодировать. Это было смыслом, вшитым в ткань нового мозга, в саму структуру нейронов этого тела. Мозг Матвея знал этот язык. И теперь мозг Марка использовал его базу данных.

Шок от этого понимания был сильнее, чем от чужих рук или запаха чумы. Это было нарушением законов реальности. Это было доказательством того, что он не в коме. Что он здесь.

Марк открыл рот. Попытался сказать «кто ты?» по-русски. Но губы сложились иначе. Язык коснулся нёба в непривычном месте. Горло издало звуки, которые он не планировал, которые пришли из глубины памяти мышц:

— Qui es-tu?... Кто... ты?

Голос был чужим. Молодым, ломким, с хрипотцой. Голос подростка, чьи связки ещё не окрепли, чей голос ещё не сложился окончательно. Голос мальчика, который боится.

Рыжий усмехнулся. Усмешка тронула только рот, глаза остались мёртвыми, пустыми, как колодцы.— Фома. Твой сосед по нарам, если ты забыл от лихорадки. Ешь. Тебе нужно набраться сил. Игуменья велела поднимать всех, кто мо-

жет стоять на ногах. Слабых отправляют в лазарет. А в лазарете сейчас одно место — в общей могиле.

Фома опустился на корточки рядом с Марком и протянул ему глиняную миску.

Марк смотрел на неё, и его рациональный, современный разум бился в истерике, пытаясь подобрать объяснение. *Я в реанимации. Мне вводят питательную смесь. Мой мозг интерпретирует это как миску. Автоперевод — это сбой нейронов, вызванный гипоксией. Галлюцинации.*

Он поднял руки. Чужие руки. Узкие кисти, длинные пальцы, испачканные чем-то тёмным — чернилами? сажей? землёй? Он взял миску. Глина была тёплой, шершавой, с отбитым краем. Реальная. Слишком реальная для комы. Вес. Температура. Текстура. Его пальцы чувствовали каждую неровность, каждую трещину в обожжённой глине. Реставратор внутри него автоматически датировал изделие: грубая работа, местный гончар, конец XIII — начало XIV века. Техника лепки ручная, без использования гончарного круга для больших форм. Обжиг низкотемпературный.

Внутри плескалась густая, серо-бурая жижа. Марк поднёс её к лицу. Запах ударил в нос: варёная репа, овёс, прогорклое сало и зола. Ни соли, ни специй. Просто горячая вода, в которой сварили то, что смогли собрать в лесу или украсть у крестьян. Похлёбка, от которой не ждут вкуса, только тепла. Только калорий. Только возможности прожить ещё один день.

Его желудок — пустой, скрученный, болевший от голода последние три дня в Москве — вдруг требовательно заурчал. Тело хотело жить. Даже если разум отказывался верить в происходящее. Биология побеждала логику. Инстинкт выживания был сильнее интеллекта.

Марк сделал глоток. Жижа была горячей, обжигающей нёбо. Безвкусной, скользкой, с крупинками недоваренного зерна, которые царапали язык, застревали в зубах. Он проглотил, и тепло медленно поползло вниз, по пищеводу, растекаясь в животе. Это было лучшее, что он ел за последние... сколько? Сколько дней он не ел в своей мастерской? Два? Три? Это тепло было спасением.

— Медленно, — Фома положил тяжёлую, мозолистую ладонь ему на плечо. Ладонь была горячей, сухой. — Если вырвешь, второй порции не будет. Братьев мало. Ртов много. А еды ещё меньше. Чума забирает не только людей. Она забирает урожай. Скот. Надежду.

Марк опустил миску. Он тяжело дышал. Пар от его дыхания клубился в холодном воздухе, создавая маленькие облачка, которые быстро рассеивались. — Фома, — он заставил свои новые, чужие губы произнести имя. Язык послушался. Слово легло правильно, естественно. — Какой сейчас год?

Фома посмотрел на него долго, изучающе. В его взгляде не было осуждения. Только усталость. И любопытство. Как к больному, который бредит. — Год Господень тысяча триста сорок восьмой, брат Матвей. Лихорадка совсем спали-

ла твой ум. Молись, чтобы Святой Себастьян отвёл от тебя безумие, прежде чем придёт Агния. Она не любит слабых. Она не любит тех, кто задаёт вопросы. Она любит тех, кто молчит и работает.

1348.

Миска выскользнула из рук Марка и глухо стукнулась о соломку. Остатки похлёбки разлились, впитываясь в грязную подстилку, смешиваясь с пылью и экскрементами крыс.

Марк закрыл глаза. Темнота за веками больше не была спасением. Она стала тюрьмой. Стенами камеры, из которой нет выхода.

Он не в коме. Комы так не пахнут. Комы не дают тебе чужие руки, чужой голос, чужое имя и чужую память. Комы не заставляют твой мозг понимать мёртвый язык без словаря. Комы не дают чувствовать холод камня, запах чумы, вкус репы.

Он был здесь. В теле монаха-переписчика по имени Матвей. В монастыре Святого Креста. В году, когда Европа начала задыхаться от собственной крови. В мире, где смерть была ежедневным спутником, а жизнь — случайностью.

Фома посмотрел на разлитую похлёбку. На лицо Марка. В его светлых глазах не было осуждения. Только усталая констатация факта.— Лихорадка, — сказал он тихо. — Она меняет людей. Забирает память. Оставляет страх. Ешь, если можешь. Завтра много работы. Аббат умер. Нужно переписывать завещание. И молитвы за упокой. Много молитв.

Он встал. Забрал миску. Вышел, не оглядываясь. Дверь скрипнула, закрываясь, отрезая Марка от света, от Фомы, от надежды на пробуждение.

Марк остался один. В темноте. В холоде. В чужом теле. В чужом времени.

Он лежал на соломе, глядя в потолок, и слушал, как капает вода. *Кап. Кап. Кап.* Как в мастерской, когда протекала крыша. Только здесь вода пахла не ржавчиной, а смертью. И он понял, что эта капля отсчитывает не время. Она отсчитывает его жизнь.

Утро наступило не с солнцем — солнца здесь не было видно. Оно наступило с ударом колокола. Глухим, надсадным, от которого вибрировали каменные стены кельи, дрожала пыль на полу, звенело в ушах. Звон врвался в сон, вытаскивал из забытья, гнал туда, где от тебя ждали движения. Где от тебя ждали послушания.

Фома разбудил его, толкнув в плечо. Толчок был сильным, болезненным.— Утренняя. Вставай. Игуменья не любит опозданий. Опоздавшие получают розги. Или остаются без еды.

Марк сел. Голова кружилась. Тело Матвея было слабым, истощённым. Но оно знало, что делать. Ноги сами нашли сандалии — простые, плетёные из лыка, холодные. Руки сами затянули верёвку на рясе. Мышечная память вела его, как слепой поводырь ведёт слепого. Он не думал. Он действовал. Автоматизм выживания.

Они вышли в коридор. Каменный, узкий, пахнущий сыростью и ладаном. Навстречу шли другие монахи — такие же бледные, измождённые, с опущенными глазами. Никто не разговаривал. Шёпот был запрещён. Молчание было добродетелью. Или способом не сойти с ума от ужаса происходящего.

Они спустились по винтовой лестнице в церковь. Маленькую, тёмную, с низкими сводами, покрытыми фресками, которые Марк, как реставратор, не мог не оценить даже в этом состоянии. Работа грубая, но искренняя. Пигменты — охра, ультрамарин из ляпис-лазури (дорогой, редкий), киноварь. Связующее — яичная темпера. Техника — прямая лессировка, слой за слоем. Но времени не было. Фрески трескались, краска осыпалась. Сырость разрушала стену. Как и всё в этом месте.

Монахи встали в ряды. Началась служба. На латыни. Марк не понимал слов — его мозг, который вчера автоматически перевёл речь Фомы, сейчас отказывался работать с литургической латынью. Она была другой. Церковной. Чужой. Архаичной. Он стоял, открыв рот, и пытался повторять движения других — креститься, склонять голову, опускаться на колени. Но чувствовал себя самозванцем, актёром, который забыл текст роли и вышел на сцену. Актером, которого вот-вот разоблачат и сожгут.

Служба длилась вечность. Или час. Марк не знал. Он считал трещины в каменном полу. Считал свечи, которые горе-

ли перед иконами. Считал дыхание Фомы рядом с ним. Ритмичное. Тяжёлое.

Когда служба закончилась, их повели в трапезную. Длинный зал с деревянными столами, покрытыми скатертями, которые когда-то были белыми, а теперь стали серыми от грязи. Монахи сели на скамьи. Принесли еду — ту же похлёбку, что вчера, и чёрный хлеб, твёрдый, как камень, который нужно было размачивать в бульоне. Марк ел механически. Тело требовало калорий. Разум был где-то далеко, в Москве, в мастерской, среди банок с растворителем и фотографий Веры.

После трапезы — работа. Скрипторий.

Это была длинная, низкая комната на втором этаже, куда поднимались по скрипучей деревянной лестнице. Десять наклонных пюпитров. Сейчас заняты были только три. Остальные монахи либо лежали в лазарете с чёрными пятнами на шее, либо уже были закопаны во дворе, где земля стала такой рыхлой от свежих могил, что напоминала вспаханное поле после дождя.

Марк сел за свой пюпитр. Перед ним лежал лист пергамента. Не бумага — телячья кожа, выскобленная, натянутая, шершавая на ощупь. Пахла она пылью и старой жизнью. Жизнью животного, которое отдали ради слова Божьего. Его задачей было переписывать. Псалтирь. Текст, который он знал наизусть в переводе, но не на оригинале. Он макал перо в дубовые чернила — густые, пахнущие железом и

кислым вином, сваренные из чернильных орешков, которые собирали осенью на дубах, — и выводил буквы.

И здесь происходило самое странное. Разум Марка не знал латыни. Он не умел писать готическим минускулом. Он не знал правил каллиграфии четырнадцатого века. Но рука Матвея знала. Стоило ему расслабить пальцы и довериться мышечной памяти, как перо начинало скользить, вырисовывая идеальные, острые вертикали и плавные дуги. Это было похоже на то, как если бы ты сел за руль машины, которой никогда не управлял, но твои ноги сами нашли педали, а руки — нужный угол поворота. Тело помнило то, чего не знал разум.

Марк работал. Часами. До тех пор, пока спина не начинала гореть огнём, а глаза — слезиться от напряжения. Он прятался в этой работе. Пока он писал, он был братом Матвеем. Пока он писал, никто не трогал его, не задавал вопросов, не требовал объяснений тому ужасу, что плескался в его глазах. Работа была анестезией.

Фома сидел за соседним пюпитром. Переписывал что-то своё — не псалмы, а какие-то хозяйственные записи. Списки умерших. Расход продуктов. Имена тех, кто ещё жив. Иногда, когда Марк сбивался, делал ошибку в букве, Фома молча протягивал ему нож — маленький, острый, для соскабливания верхнего слоя пергамента, чтобы исправить ошибку. Без слов. Без упрёков. Просто помощь. Просто ритуал исправления ошибок, которые нельзя стереть ластиком.

Так прошли три дня. Или четыре. Марк перестал считать. Время измерялось ударами колокола. Утренняя, секста, вечерняя. Звон врывался в сон, вытаскивал из забытья, гнал туда, где от тебя ждали движения.

На четвёртый день — или то, что он решил считать четвёртым днём, — монастырь ожил. Не жизнью. Подготовкой к смерти.

Колокол ударил чаще, чем обычно. Тревожно, рвано. Не ритмично, как обычно, а хаотично, как сердце больного. Марк поднял голову от пергамента. Капля чернил сорвалась с пера и упала на край строки, расплывшись чёрной звездой, похожей на паука. Он выругался про себя, по-русски, но губы произнесли лишь тихий выдох.

В скрипторий вошёл Фома. Он не сел за свой пюпитр. Встал в дверях, заполнив собой проём, закрыв свет из коридора. — Вниз, — сказал он. Голос хриплый, будто он долго молчал или кричал. — Все в капитулярный зал. Агния созывает. Срочно.

Марк аккуратно положил перо на деревянную подставку. Вытер пальцы о край рясы. Синие пятна от чернил не стирались, они въелись в кожу навсегда, стали частью его новой идентичности. Он встал. Ноги затекли, колени хрустнули, как сухие ветки.

Они шли вниз по винтовой лестнице. Марк держался за холодную стену. Воздух становился гуще с каждым шагом. Пахло не только сыростью и болезнью. Появился новый за-

пах. Тяжёлый, сладкий, удушливый. Ладан. Его жгли так много, словно пытались заглушить им запах разложения, пропитавший камни, воздух, людей. Ладан был маскировкой. Маскировкой смерти.

Капитулярный зал был самым большим помещением после церкви. Сводчатый потолок, поддерживаемый толстыми колоннами, которые казались неподъёмными. Скамьи вдоль стен. Посередине — возвышение, на котором стояло массивное кресло с высокой спинкой, резное, тёмное, как само зло.

Монахов было мало. Человек двадцать. Бледные, осунувшиеся, с лихорадочным блеском в глазах. Некоторые держались за животы, некоторые опирались на деревянные посохи, как старики. Они рассаживались молча. Никто не переговаривался. Никто не шутил. Страх здесь был не эмоцией — он был архитектурой, воздухом, правилом жизни. Страх был Богом.

Марк сел на дальнюю скамью. Фома опустился рядом. Не вплотную, но достаточно близко, чтобы Марк чувствовал исходящее от него тепло. Единственное живое тепло в этом каменном мешке. Тепло человека, который ещё не сдался.

Двери открылись.

Ладанный дым хлынул в зал плотным облаком, белым, густым, и сквозь него прошла она.

Игуменья Агния.

Марк замер. Его сердце — сердце Матвея — пропустило удар, а потом забилося так часто, что отдавало в зубы, в вис-

ки, в кончики пальцев. Он ожидал увидеть старую, высохшую фанатичку. Или жестокую, властную женщину с ледяными глазами, наслаждающуюся своей властью над умирающими мужчинами.

Но Агния не была жестокой. По крайней мере, не так, как понимал жестокость Марк.

Она была молодой. Не старше тридцати. Высокая, прямая, словно её позвоночник выковали из железа, а не вырастили из кости. Лицо — строгое, без единой мягкой линии, но красивое той пугающей красотой, какая бывает у икон, написанных для того, чтобы внушать трепет, а не любовь. Кожа бледная, почти прозрачная, сквозь которую просвечивали синие вены. Глаза — тёмные, огромные, горящие не злобой, а тем страшным, невыносимым светом абсолютной веры. Веры в то, что она права. Что она спасает. Что она знает путь.

Она шла не как правительница, идущая на казнь. Она шла как мать, идущая к постели смертельно больных детей, чтобы дать им последнее, горькое лекарство. Лекарство, которое убьёт боль, но и убьёт ребёнка.

На ней было чёрное одеяние, плотно застёгнутое до подбородка. Ни украшений, ни символов власти, кроме тяжёлого деревянного креста на груди, отполированного постоянным прикосновением пальцев до гладкости стекла.

Агния поднялась на возвышение. Не села в кресло. Осталась стоять. Обвела зал взглядом. Когда её глаза прошли по Марку, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не

от страха. От узнавания.

Этот взгляд. Этот способ смотреть — чуть склонив голову набок, оценивая не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься. Край губ дрогнул. Не улыбка. Едва заметное напряжение мышц.

Лица.

Нет. Не Лица. Агния. Но душа... та самая, собственническая, удушающая, уверенная в своей правоте душа. Та, что приносит конверты с поддельными фотографиями и говорит: «Я предупреждала. Я всегда была рядом». Та, что считает, что имеет право решать за тебя, что для тебя лучше.

— Братья. Сёстры, — её голос был негромким, но акустика зала несла его в каждый угол, отражаясь от сводов, усиливаясь, становясь громом. Голос ровный, лишённый истерики. Лишённый сомнений. — Господь испытывает нас. Мор, что косит наши ряды, — не наказание. Это горнило. Огонь, в котором переплавляется золото, чтобы отделить его от шлака. Мы — золото. Или шлак? Кто решит?

Она сделала паузу. Кто-то в первом ряду закашлялся — влажно, булькающе, страшно. Агния даже не скосила глаз. Она не реагировала на слабость. Она презирала её.

— Мы теряем братьев. Мы теряем сестёр. Аптекарь умер вчера. Пекарь бредит третью ночь. Повар упал и не встал. Но монастырь стоит. И он будет стоять. Потому что мы — стена между этим миром и адом. И если в стене появляется трещина, её нужно замазать. Даже если для этого придётся

отсечь гниющий камень. Даже если этот камень — часть нас. Марк слушал. И его рациональный, современный ум, привыкший анализировать пигменты и датировать холсты, вдруг увидел картину целиком. Она не была злодейкой из дешёвого романа. Она была женщиной, на плечи которой рухнул мир. Аббат мёртв. Монахи умирают. Крестьяне из окрестных деревень ломятся в ворота, умоляя о спасении, принося с собой заразу. И она, Агния, единственная, кто держит этот хаос в узде. Она искренне, до глубины своего существования, верила в каждое произнесённое слово. Она верила, что Бог дал ей скальпель, и если нужно вырезать кусок живой плоти, чтобы спасти тело — она вырежет. Без садизма. Со слезами на глазах, которые она никому не покажет.

Это делало её в тысячу раз опаснее любого маньяка. С маньяком можно договориться через страх. С человеком, который убивает тебя ради твоего же спасения, договориться невозможно. С ним нельзя спорить. Ему нельзя объяснить. Он уже всё решил.

— Наши разведчики вернулись из нижней долины, — продолжила Агния. Её пальцы легли на деревянный крест. Побелели от напряжения. — Они принесли весть. Весть о том, почему Господь отвернулся от нас. Почему мор не отступает. Почему наши молитвы не достигают небес.

Тишина в зале стала плотной. Можно было резать ножом. Можно было задохнуться от неё.

— Среди нас, у наших стен, гнездится скверна. Язы-

чество, которое мы считали искоренённым, пустило новые ростки. В лесах, в заброшенных хижинах, те, кто называет себя целителями, варят зелья из крови и корней, призывая старых богов. Они отравляют колодцы. Они накликают мизамы. Они продают души дьяволу за здоровье. Они — причина того, что ваши братья гниют заживо. Они — причина вашей боли.

Фома рядом с Марком едва заметно напрягся. Его широкие плечи подались вперёд на миллиметр. Марк уловил это движение краем глаза. Фома знал. Фома чувствовал ложь.

— Мы нашли одну из них, — голос Агнии не повысился, но в нём зазвенела сталь. Звон меча. — Травницу. Ту, что приходила к нашим воротам продавать коренья. Ту, что шептала заговоры над водой. Ту, что лечила детей, когда наши молитвы не помогали. Она сейчас в нижнем карцере.

Агния посмотрела прямо перед собой. Её тёмные глаза, казалось, видели каждого насквозь. Видели грехи. Видели страх. Видели надежду.

— Завтра, на рассвете, мы предадим её очищающему огню. Не из жестокости. Из милосердия к тем, кто ещё жив. Мы должны показать Господу, что наш дом чист. Что мы готовы выжечь заразу, чтобы спасти монастырь. Чтобы спасти вас.

Она перекрестилась. Медленно, широко. Жест был величественным. Страшным.— Идите с миром. Молитесь за её душу. И за свои. Потому что завтра огонь очистит не только её. Он очистит нас всех.

Агния развернулась и вышла. Ладанный дым сомкнулся за ней, как вода за тонущим камнем, как занавес в театре после финальной сцены.

Монахи начали расходиться. Молча, шаркая сандалиями по плитам. Никто не обсуждал. Никто не возражал. Приговор был прочитан, печать поставлена. Вопросов не было. Был только страх.

Марк остался сидеть. Ноги не держали. Он чувствовал, как дрожь проходит по телу. Он думал о словах Агнии. *Травница. Целительница. Ведьма.*

И тут он вспомнил. Не словами. Ощущением. Тем самым, что ударило его в мастерской, когда он смотрел в зеркало. Запах полыни. Привычка заправлять прядь волос за ухо. Взгляд, который видит суть.

Он не знал, как её зовут в этом веке. Но он знал, кто она.

Рядом тяжело опустился на скамью Фома. Он не ушёл с остальными. Он сидел, глядя в пол, и его большие, узловатые руки медленно сжимались и разжимались на коленях. Кулаки сжимались. Разжимались. Снова сжимались.

— Ты слышал? — спросил Марк. Голос Матвея звучал тихо, почти по-детски. Хрупо.

Фома не сразу ответил. Он поднял глаза — светлые, выцветшие, как зимнее небо перед снегопадом. Посмотрел на Марка. Долго. Так, словно взвешивал что-то на внутренних весах. Взвешивал свою совесть. Свой страх. Свою жизнь.

— Я слышал, — наконец сказал он. — Игумения права.

Если огонь спасёт обитель, значит, так угодно Богу. Бог мудрее нас. Бог знает, что делает.

Но его руки продолжали сжиматься. И Марк, реставратор, привыкший видеть скрытые трещины под слоями лака, понял: Фома не верит. Или верит, но эта вера причиняет ему боль. Эта вера требует жертв, которые он не готов приносить.

— А если она невиновна? — спросил Марк. Просто чтобы проверить. Чтобы увидеть реакцию. Чтобы понять, есть ли в этом мире хоть кто-то, кто сомневается.

Фома резко повернул к нему голову. В его взгляде мелькнуло что-то новое. Не оценка. Предупреждение. Страх.— Закрой рот, брат Матвей, — прошипел он так тихо, что звук не долетел бы до двери. — Лихорадка выжгла твой ум, но если ты скажешь это при ком-то другом, Агния сожжёт тебя вместе с ней. Чтобы спасти твою душу. Она не шутит. Она никогда не шутит.

Он встал. Тяжело, опираясь на колени. Скрип суставов был громким в тишине.— Иди в келью. Спи. Завтра будет длинный день. Завтра мы будем смотреть, как горит правда.

Фома ушёл. Марк остался один в пустом, пропахшем ладаном и страхом зале.

Завтра. На рассвете. У него оставалась одна ночь. Одна ночь в теле чужого мальчика, в мире, где сжигают людей ради их же блага. Одна ночь, чтобы понять, как вытащить её из нижнего карцера. Как спасти ту, кого он искал всю жизнь.

Он закрыл глаза. И в темноте, за его веками, снова мельк-

нуло лицо. Не Веры из Москвы. Не Евы, которую он ещё не видел. Просто лицо женщины, которая ждёт. Которая знает. Которая верит.

Где-то далеко, сквозь толщу веков, Марк почти физически ощутил, как обожгло бедро. Там, где в кармане чужого пальто лежал тёплый осколок чёрного стекла. И кто-то улыбался в темноту.

Глава 4. Чернила и пепел

Три дня. Или четыре. Марк перестал считать время по часам, потому что часов здесь не было. Время измерялось ударами колокола — глухими, надсадными, от которых вибрировали каменные стены кельи. Утренняя, секста, вечерняя. Звон врывался в сон, вытаскивал из забытья, гнал туда, где от тебя ждали движения. Где от тебя ждали не слов, а действий.

Он больше не спорил с реальностью. Спорить означало кричать, а кричать значило привлекать внимание. Внимание в месте, где люди умирали десятками, было роскошью, которую он не мог себе позволить. Мозг реставратора, привыкший раскладывать сложное на слои — грунт, подмалёвок, лессировка, лак, — включил режим выживания. Он начал препарировать новую жизнь так же методично, как вскрывал фрески скальпелем. Слой за слоем. Деталь за деталью. Понимая структуру, чтобы не сломать её.

Слой первый: тело. Его звали Матвей. Ему было девятнадцать лет. Марк узнал это не из разговоров — с ним почти не разговаривали, — а из обрывков чужих фраз, которые его новый мозг впитывал без усилий перевода. Тело было истощено постом и страхом. Рёбра проступали под грубой шерстью рясы, как клавиши расстроенного спинета — торчащие, неровные, болезненные. Но руки... Руки были другими. Не его тонкие, нервные пальцы, привыкшие к мягкости кисти,

к лёгкости скальпеля. Пальцы Матвея были короче, крепче, покрытые вьевшейся синевой чернил. На подушечках — мозоли от постоянного давления пера, на правом среднем пальце — глубокая, незаживающая борозда от того, как он прижимал гусиное перо часами, сутками, годами. Тело помнило то, чего не знал разум Марка. Оно само складывалось в нужную позу за скрипторием, само тянулось к чернильнице, само брало перо так, чтобы не сломать тонкий наконечник. Это была мышечная память девятнадцатилетней жизни послушника, ставшая частью анатомии.

Слой второй: место. Монастырь Святого Креста. Где именно — Марк пока не понял. Язык, на котором говорили монахи, был вязкой смесью вульгарной латыни и какого-то местного наречия, похожего на старофранцузский, но более гортанного, с шипящими согласными. Стены из серого, пористого камня, вечно влажные, покрытые плесенью и мхом. Окна узкие, как бойницы, затянутые не стеклом, а промасленным холстом, пропускавшим мутный, белёсый свет, от которого всё казалось больным. Холод стоял такой, что пар изо рта оседал инеем на бороде Фомы, спавшего на соседних нарах, и на ресницах Марка по утрам.

Фома. Спутник, которого Марк не просил. Рыжий, широкоплечий, угрюмый. Он не задавал вопросов о том, почему брат Матвей вдруг смотрит на мир так, словно видит его впервые. Фома просто делал то, что должен был делать: будил, когда звонил колокол; толкал миску с баландой, ес-

ли Марк забывал есть; шёл рядом по тёмным галереям, за-
слоняя спиной сквозняк, защищая от ветра, от взглядов, от
опасности. Он был как старый, надёжный инструмент — без
эмоций, только функция. Без вопросов, только исполнение.
Но иногда, когда Марк кашлял или морщился от боли в вис-
ке, где осталась рассечённая рана, Фома бросал на него ко-
роткий, цепкий взгляд. Не сочувственный. Оценивающий.
Взгляд человека, который привык решать, кого тащить на се-
бе, а кого оставить умирать, чтобы не замедлять шаг. Взгляд,
который говорил: «Ты полезен. Пока. Не подведи».

Слой третий: работа.Скрипторий. Длинная, низкая ком-
ната на втором этаже, куда поднимались по скрипучей де-
ревянной лестнице, прогибающейся под весом. Десять на-
клонных пюпитров, сделанных из тёмного дерева, с резными
краями. Сейчас заняты были только три. Остальные мона-
хи либо лежали в лазарете с чёрными пятнами на шее, либо
уже были закопаны во дворе, где земля стала такой рыхлой
от свежих могил, что напоминала вспаханное поле после до-
ждя. Земля пахла смертью. Не метафорически. Физически.
Запахом разложения, который поднимался из могил и сме-
шивался с влажным воздухом.

Марк сидел за своим пюпитром. Перед ним лежал лист
пергамента. Не бумага — телячья кожа, выскобленная, натя-
нутая, шершавая на ощупь. Пахла она пылью и старой жиз-
нью. Жизнью телёнка, которого убили ради слова Божьего.
Его задачей было переписывать. Псалтирь. Текст, который

был смыслом его существования, который был его молитвой, его работой, его спасением. Он макал перо в дубовые чернила — густые, пахнувшие железом и кислым вином, сваренные из чернильных орешков, которые собирали осенью, — и выводил буквы. И здесь происходило самое странное. Разум Марка не знал латыни. Он не умел писать готическим минускулом, не знал правил каллиграфии, не понимал структуры лигатур. Но рука Матвея знала. Стоило ему расслабить пальцы и довериться мышечной памяти, как перо начинало скользить, вырисовывая идеальные, острые вертикали и плавные дуги. Это было похоже на то, как если бы ты сел за руль машины, которой никогда не управлял, но твои ноги сами нашли педали, а руки — нужный угол поворота. Тело знало. Тело помнило. Тело жило само.

Марк работал. Часами. До тех пор, пока спина не начинала гореть огнём, пока мышцы не сводило судорогой, а глаза — слезиться от напряжения, пока перед ними не плыли чёрные пятна. Он прятался в этой работе. Пока он писал, он был братом Матвеем. Пока он писал, никто не трогал его, не задавал вопросов, не требовал объяснений тому ужасу, что плескался в его глазах. Работа была анестезией. Работа была щитом.

Но на четвёртый день — или то, что он решил считать четвёртым днём, — монастырь ожил. Не жизнью. Подготовкой к смерти.

Колокол ударил чаще, чем обычно. Тревожно, рвано, ха-

отично, как сердце лихорадочного больного. Марк поднял голову от пергамента. Капля чернил сорвалась с пера и упала на край строки, расплывшись чёрной звездой, похожей на паука, бегущего по бумаге. Он выругался про себя, по-русски, но губы произнесли лишь тихий выдох, который никто не услышал.

В скрипторий вошёл Фома. Он не сел за свой пюпитр. Встал в дверях, заполнив собой проём, заслонив свет из коридора, сделав комнату темнее.— Вниз, — сказал он. Голос хриплый, будто он долго молчал или кричал. — Все в капитулярный зал. Агния созывает. Срочно. Немедленно.

Марк аккуратно положил перо на деревянную подставку, как делал всегда, как учил его наставник. Вытер пальцы о край рясы. Синие пятна от чернил не стирались, они въелись в кожу навсегда, стали частью его новой идентичности, частью его греха и его спасения. Он встал. Ноги затекли, колени хрустнули, как сухие ветки под ногой.

Они шли вниз по винтовой лестнице. Марк держался за холодную стену, за шершавый камень, который давал опору. Воздух становился гуще с каждым шагом, плотнее, тяжелее. Пахло не только сыростью и болезнью. Появился новый запах. Тяжёлый, сладкий, удушливый. Ладан. Его жгли так много, словно пытались заглушить им запах разложения, пропитавший камни, стены, людей. Ладан был маскировкой. Маскировкой правды.

Капитулярный зал был самым большим помещением по-

сле церкви. Сводчатый потолок, поддерживаемый толстыми колоннами, которые казались неподъёмными, как сама вера. Скамьи вдоль стен. Посередине — возвышение, на котором стояло массивное кресло с высокой спинкой, резное, тёмное, как само зло.

Монахов было мало. Человек двадцать. Бледные, осунувшиеся, с лихорадочным блеском в глазах, с запавшими щеками, с потемневшими губами. Некоторые держались за животы, сжимая кулаки, некоторые опирались на деревянные посохи, как старики, хотя большинству было меньше сорока. Они рассаживались молча. Никто не переговаривался. Никто не шептал. Страх здесь был не эмоцией — он был архитектурой, воздухом, правилом жизни. Страх был Богом, которому молились не из любви, а из ужаса.

Марк сел на дальнюю скамью, в тени, там, где его не было видно первому взгляду. Фома опустился рядом. Не вплотную, но достаточно близко, чтобы Марк чувствовал исходящее от него тепло. Единственное живое тепло в этом каменном мешке, среди мёртвых стен и мёртвых людей.

Двери открылись.

Ладанный дым хлынул в зал плотным облаком, белым, густым, как молоко, и сквозь него прошла она.

Игуменья Агния.

Марк замер. Его сердце — сердце Матвея — пропустило удар, а потом забилося так часто, что отдавало в зубы, в виски, в кончики пальцев, в самое нутро. Он ожидал увидеть

старую, высохшую фанатичку. Или жестокую, властную женщину с ледяными глазами, наслаждающуюся своей властью над умирающими мужчинами (потому что монастырь, судя по всему, был двойным, или женская часть взяла управление после того, как аббат умер от чумы и от страха).

Но Агния не была жестокой. По крайней мере, не так, как понимал жестокость Марк.

Она была молодой. Не старше тридцати. Высокая, прямая, словно её позвоночник выковали из железа, а не вырастили из кости, из хрящей, из плоти. Лицо — строгое, без единой мягкой линии, но красивое той пугающей красотой, какая бывает у икон, написанных для того, чтобы внушать трепет, а не любовь. Кожа бледная, почти прозрачная, сквозь которую просвечивали синие вены, как река на карте. Глаза — тёмные, огромные, горящие не злобой, а тем страшным, невыносимым светом абсолютной веры. Веры в то, что она права. Что она знает. Что она спасает.

Она шла не как правительница, идущая на казнь. Она шла как мать, идущая к постели смертельно больных детей, чтобы дать им последнее, горькое лекарство. Лекарство, которое убьёт боль, но и убьёт ребёнка. Лекарство, которое она сама считала спасением.

На ней было чёрное одеяние, плотно застёгнутое до подбородка, скрывающее фигуру, делающее её бесполой, монолитной, как сама идея. Ни украшений, ни символов власти, кроме тяжёлого деревянного креста на груди, отполиро-

ванного постоянным прикосновением пальцев до гладкости стекла.

Агния поднялась на возвышение. Не села в кресло. Осталась стоять. Обвела зал взглядом. Когда её глаза прошли по Марку, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не от страха. От узнавания. От прикосновения чужой воли.

Этот взгляд. Этот способ смотреть — чуть склонив голову набок, оценивая не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься. Край губ дрогнул. Не улыбка. Едва заметное напряжение мышц.

Лица.

Нет. Не Лица. Агния. Но душа... та самая, собственническая, удушающая, уверенная в своей правоте душа. Та, что приносит конверты с поддельными фотографиями и говорит: «Я предупреждала. Я всегда была рядом». Та, что считает, что имеет право решать за тебя, что для тебя лучше, что твоя боль — это её работа, её долг, её спасение.

— Братья. Сёстры, — её голос был негромким, но акустика зала несла его в каждый угол, отражаясь от сводов, усиливаясь, становясь громом, становясь судьбой. Голос ровный, лишённый истерики. Лишённый сомнений. — Господь испытывает нас. Мор, что косит наши ряды, — не наказание. Это горнило. Огонь, в котором переплавляется золото, чтобы отделить его от шлака. Мы — золото. Или шлак? Кто решит? Не мы. Он.

Она сделала паузу. Кто-то в первом ряду закашлялся —

влажно, булькающе, страшно, как будто кашлем из лёгких выплёвывалась жизнь. Агния даже не скосила глаз. Она не реагировала на слабость. Она презирала её. Слабость была грехом.

— Мы теряем братьев. Мы теряем сестёр. Аптекарь умер вчера. Пекарь бредит третью ночь. Повар упал и не встал. Но монастырь стоит. И он будет стоять. Потому что мы — стена между этим миром и адом. И если в стене появляется трещина, её нужно замазать. Даже если для этого придётся отсечь гниющий камень. Даже если этот камень — часть нас. Даже если это — вы.

Марк слушал. И его рациональный, современный ум, привыкший анализировать пигменты и датировать холсты, вдруг увидел картину целиком. Она не была злодейкой из дешёвого романа. Она была женщиной, на плечи которой рухнул мир. Аббат мёртв. Монахи умирают. Крестьяне из окрестных деревень ломаются в ворота, умоляя о спасении, принося с собой заразу. И она, Агния, единственная, кто держит этот хаос в узде. Она искренне, до глубины своего существа, верила в каждое произнесённое слово. Она верила, что Бог дал ей скальпель, и если нужно вырезать кусок живой плоти, чтобы спасти тело — она вырежет. Без садизма. Со слезами на глазах, которые она никому не покажет, потому что слёзы — слабость.

Это делало её в тысячу раз опаснее любого маньяка. С маньяком можно договориться через страх. С человеком, ко-

торый убивает тебя ради твоего же спасения, договориться невозможно. С ним нельзя спорить. Ему нельзя объяснить. Он уже всё решил. Он знает правду.

— Наши разведчики вернулись из нижней долины, — продолжила Агния. Её пальцы легли на деревянный крест. Побелели от напряжения, от усилия, с которым она держала себя. — Они принесли весть. Весть о том, почему Господь отвернулся от нас. Почему мор не отступает. Почему наши молитвы не достигают небес. Почему наши дети гниют.

Тишина в зале стала плотной. Можно было резать ножом. Можно было задохнуться от неё, как от воды.

— Среди нас, у наших стен, гнездится скверна. Язычество, которое мы считали искоренённым, пустило новые ростки. В лесах, в заброшенных хижинах, те, кто называет себя целителями, варят зелья из крови и корней, призывая старых богов, тех, кого мы забыли, тех, кого проклинали. Они отравляют колодцы. Они накликают миазмы. Они продают души дьяволу за здоровье, за жизнь, за то, что не принадлежит им. Они — причина того, что ваши братья гниют заживо. Они — причина вашей боли. Они — причина смерти.

Фома рядом с Марком едва заметно напрягся. Его широкие плечи подались вперёд на миллиметр. Марк уловил это движение краем глаза, как реставратор ловит движение кисти, чтобы не размазать краску. Фома знал. Фома чувствовал ложь. Фома видел, как правда превращают в оружие.

— Мы нашли одну из них, — голос Агнии не повысился,

но в нём зазвенела сталь. Звон меча, который вынули из ножен. — Травницу. Ту, что приходила к нашим воротам продавать коренья. Ту, что шептала заговоры над водой. Ту, что лечила детей, когда наши молитвы не помогали, когда наша вера была бессильна. Она сейчас в нижнем карцере. В темноте. В ожидании.

Агния посмотрела прямо перед собой. Её тёмные глаза, казалось, видели каждого насквозь. Видели грехи. Видели страх. Видели надежду. Видели всё, что они прятали.

— Завтра, на рассвете, мы предадим её очищающему огню. Не из жестокости. Из милосердия к тем, кто ещё жив. Мы должны показать Господу, что наш дом чист. Что мы готовы выжечь заразу, чтобы спасти монастырь. Чтобы спасти вас. Чтобы спасти ваши души.

Она перекрестилась. Медленно, широко. Жест был величественным. Страшным. Как приговор.— Идите с миром. Молитесь за её душу. И за свои. Потому что завтра огонь очистит не только её. Он очистит нас всех. Огонь — это милость. Огонь — это спасение.

Агния развернулась и вышла. Ладанный дым сомкнулся за ней, как вода за тонущим камнем, как занавес в театре после финальной сцены, после которой нет аплодисментов.

Монахи начали расходиться. Молча, шаркая сандалиями по плитам. Никто не обсуждал. Никто не возражал. Приговор был прочитан, печать поставлена. Вопросов не было. Был только страх. Была только покорность.

Марк остался сидеть. Ноги не держали. Он чувствовал, как дрожь проходит по телу, как мышцы сводит судорогой. Он думал о словах Агнии. *Травница. Целительница. Ведьма.*

И тут он вспомнил. Не словами. Ощущением. Тем самым, что ударило его в мастерской, когда он смотрел в зеркало. Запах полыни. Привычка заправлять прядь волос за ухо. Взгляд, который видит суть, а не форму.

Он не знал, как её зовут в этом веке. Но он знал, кто она. Рядом тяжело опустился на скамью Фома. Он не ушёл с остальными. Он сидел, глядя в пол, и его большие, узловатые руки медленно сжимались и разжимались на коленях. Кулаки сжимались, ногти впились в ладони. Разжимались. Снова сжимались.

— Ты слышал? — спросил Марк. Голос Матвея звучал тихо, почти по-детски. Хрупо, как трещина в стекле.

Фома не сразу ответил. Он поднял глаза — светлые, выцветшие, как зимнее небо перед снегопадом, когда солнце уже садится, но ещё не ушло. Посмотрел на Марка. Долго. Так, словно взвешивал что-то на внутренних весах. Взвешивал свою совесть, свой страх, свою жизнь, свою душу.

— Я слышал, — наконец сказал он. Голос был ровным, но под ним вибрировала струна, готовая лопнуть. — Игуменья права. Если огонь спасёт обитель, значит, так угодно Богу. Бог мудрее нас. Бог знает, что делает. Мы не можем понимать Его замысел. Мы можем только повиноваться.

Но его руки продолжали сжиматься. И Марк, реставратор, привыкший видеть скрытые трещины под слоями лака, понял: Фома не верит. Или верит, но эта вера причиняет ему боль. Эта вера требует жертв, которые он не готов приносить. Эта вера разрушает его изнутри, как вода разрушает камень.

— А если она невиновна? — спросил Марк. Просто чтобы проверить. Чтобы увидеть реакцию. Чтобы понять, есть ли в этом мире хоть кто-то, кто сомневается. Хоть кто-то, кто ещё жив.

Фома резко повернул к нему голову. В его взгляде мелькнуло что-то новое. Не оценка. Предупреждение. Страх. Страх за него. Страх за себя.— Закрой рот, брат Матвей, — прошипел он так тихо, что звук не долетел бы до двери, не коснулся бы стен. — Лихорадка выжгла твой ум, но если ты скажешь это при ком-то другом, Агния сожжёт тебя вместе с ней. Чтобы спасти твою душу. Она не шутит. Она никогда не шутит. Она верит в то, что делает. А вера без сомнений страшнее ненависти.

Он встал. Тяжело, опираясь на колени, как старик, как сломанный человек. Скрип суставов был громким в тишине, как выстрел.— Иди в келью. Спи. Завтра будет длинный день. Завтра мы будем смотреть, как горит правда. Завтра мы будем молиться, чтобы огонь не пощадил нас.

Фома ушёл. Марк остался один в пустом, пропахшем ладаном и страхом зале, среди мёртвых скамеек и мёртвых слов.

Завтра. На рассвете. У него оставалась одна ночь. Одна ночь в теле чужого мальчика, в мире, где сжигают людей ради их же блага. Одна ночь, чтобы понять, как вытащить её из нижнего карцера. Как спасти ту, кого он искал всю жизнь, сквозь века, сквозь зеркала, сквозь боль.

Он закрыл глаза. И в темноте, за его веками, снова мелькнуло лицо. Не Веры из Москвы. Не Евы, которую он ещё не видел. Просто лицо женщины, которая ждёт. Которая знает. Которая верит, что он придёт.

Где-то далеко, сквозь толщу веков, Марк почти физически ощутил, как обожгло бедро. Там, где в кармане чужого пальто лежал тёплый осколок чёрного стекла. И кто-то улыбался в темноту. Улыбался краем губ. Все понимающей улыбкой.

Глава 5. Нижняя тьма

Ночь в монастыре Святого Креста не наступала — она просачивалась. Сначала серела каменная кладка стен, теряя дневную пыльную желтизну, превращаясь в цвет мокрого пепла. Потом темнели углы скриптория, где тени от пюпитров вытягивались, становясь похожими на длинные, худые пальцы мертвецов, тянущиеся к свету. И наконец, когда последняя полоска света уходила из узких окон-бойниц, затянутых промасленным холстом, наступала полная, густая, звенящая тишина. Тишина, которая давила на уши сильнее, чем любой шум.

Марк лежал на жёсткой соломе нар. Фома храпел рядом — коротко, рвано, словно даже во сне его горло сжимала невидимая рука, не дающая дышать полной грудью. Скрипторий, псалмы, чернила, запах пергамента и дубовой кислоты — всё это осталось наверху, в мире дневного света и обязанностей. Здесь, внизу, в келье, было только ожидание. И холод.

Холод здесь был иным, чем в Москве. В Москве холод был уличным, ветренным, проникающим сквозь щели в окнах, сквозь тонкую куртку. Здесь холод был внутренним. Он исходил от самих камней, пропитанных вековой сыростью подземных вод, холодом могил, которые рыли за стеной. Он поднимался от пола, проходил сквозь тонкую шерсть рясы,

через кожу, через мышцы, оседая в костях тяжёлым, ноющим грузом. Марк дрожал. Не от страха. От физиологии. Тело Матвея было истощено. Посты, недоедание, постоянный стресс чумы — всё это сделало его терморегуляцию хрупкой, как старый лак, который вот-вот осыплется.

Марк пытался выстроить план. Это была его защита. Его способ сохранить рассудок, не дать ему раствориться в чужой личности. Он привык планировать реставрацию: сначала расчистка загрязнений, потом укрепление грунта, затем тонировка утрат, потом лакировка. Чёткая последовательность действий, ведущая к результату. Но как спланировать побег из каменного мешка, где каждый камень пропитан верой в то, что убийство — это акт милосердия? Где смерть считается очищением, а жизнь — испытанием, которое нужно пройти с покорностью?

Он перебирал варианты в уме, лежа в темноте и слушая дыхание Фомы. *Вариант А: Силовой.* Выбить дверь. Нереально. Дверь дубовая, окованная железом, с массивным засовом. Стража — двое послушников, которым Агния внушила, что охранять «ведьму» так же свято, как молиться у алтаря. У них есть дубины. У него — нет ничего. Только руки переписчика, которые умеют держать перо, а не оружие. *Вариант Б: Хитрость.* Обмануть стражу. Сказать, что Агния велела привести ведьму для исповеди перед казнью. Рискованно. Послушники могут проверить. Или просто не поверить мальчишке-переписчику, который вчера боялся соб-

ственной тени. Ложь должна быть убедительной, а у Марка не было опыта лжи в этом мире. *Вариант В: Знания реставратора.* Марк знал устройство средневековых замков теоретически. Он видел их в музеях, изучал механизмы при реставрации старинных сундуков и дверей. Он знал, что ржавчина — враг металла. Что влага ослабляет дерево. Но знать теорию и открыть ржавый замок в темноте, когда за спиной стоит смерть, — разные вещи.

Он закрыл глаза. Попытался представить лицо Евы. То самое, которое он ещё не видел в этом веке, но которое помнила его душа. Запах полыни. Привычка заправлять прядь за ухо. Если она там, в карцере, одна, в темноте, ожидая огня... Мысль об огне заставляла его желудок сжиматься. Огонь был реальным. Огонь был страшным. Огонь был концом.

Скрипнула дверь кельи.

Звук был тихим, но в абсолютной тишине ночи он прозвучал как выстрел, как треск ломающейся кости. Марк замер. Сердце Матвея ударило в ребра так сильно, что заболело, отдалось болью в груди.

В щель между досками просунулся тусклый свет масляной плошки. Жёлтый, колеблющийся, отбрасывающий на стены длинные, пляшущие тени, которые казались живыми существами, ползущими по камню.

— Матвей.

Голос Фомы. Но он не спал? Или проснулся так тихо, что Марк не услышал? Как солдат, который спит с одним откры-

тым глазом? Рыжий силуэт возник в дверях. Плошка в его руке оплыла воском, стекавшим по глиняным бокам каплями, похожими на застывшие слёзы. Лицо Фомы казалось высеченным из того же серого камня, что и стены монастыря. Никаких эмоций. Только усталость и какая-то тяжёлая, надломленная решимость, которая делала его плечи шире, чем они были днём, делала его фигуру монолитной, неподвижной.

— Вставай, — сказал он. Тихо. Так, чтобы звук не коснулся потолка, не разбудил соседей по коридору, не привлёк внимание ночной стражи.— Куда? — Марк сел. Голова закружилась. Тело Матвея было слишком слабым для резких движений. Кровь отлила от головы, в глазах потемнело, появились чёрные пятна, которые плясали перед глазами, как мушки. Фома шагнул внутрь. Закрыл за собой дверь. Щёлкнул засов. Подошёл вплотную. От него пахло старым потом, железом и чем-то ещё — запахом сырой земли, который бывает у людей, много времени проводящих в погребках или могилах. Запахом человека, который принял своё место в мире мёртвых.

— Ты весь день смотрел не в пергамент, — сказал Фома. Его голос был ровным, но под этой ровностью вибрировала струна, готовая лопнуть, как натянутая тетива лука. — Ты смотрел сквозь него. И когда Агния говорила о травнице, ты дышал так, будто тебя самого бросили в огонь. Твои руки дрожали. Ты уронил перо три раза за минуту. Матвей ни-

когда не ронял перо. Матвей боялся Игуменнии больше, чем ада. Матвей боялся сделать ошибку, потому что ошибка — это грех. А ты... ты смотрел на неё с жалостью.

Марк промолчал. Оправдываться перед человеком, который читает тебя по дыханию, по движению мышц, по ритму моргания, бессмысленно. Фома был солдатом. Даже став монахом, он остался наблюдателем поля боя. Он видел то, что другие не хотели видеть.

— Я не знаю, что с тобой случилось после лихорадки, брат, — продолжил Фома. Он поставил плошку на пол. Свет метнулся по стенам, исказив его лицо, сделав глаза глубокими провалами, полными тьмы. — Но я знаю, что ты пойдёшь вниз. К карцеру. Я видел твои глаза. В них не было страха наказания. В них была боль потери. Боль, которую я узнаю. И если ты пойдёшь один, тебя схватят до того, как ты ступишь на первую ступеньку лестницы. Тебя убьют. Или сожгут вместе с ней. Как еретика. Как пособника дьявола.

— Почему ты... — начал Марк. Голос вышел хриплым, сухим, как шелест сухой листвы. — Потому что я трус, — перебил Фома. Слово упало между ними, как тяжёлый камень, брошенный в колодец, вызывая эхо, которое расходилось кругами. — Я говорил тебе заткнуть рот. Говорил, что Игуменния права. Говорил, что огонь очистит нас. Но моя мать была травницей. До того, как её сожгли в моём родном селе, когда мне было десять лет. Она лечила людей корой ивы. Лечила детей от лихорадки. Лечила стариков от боли в

суставах. А они сказали, что она пила кровь младенцев. Что она заключила pactum с дьяволом, чтобы урожай был лучше, чтобы скот недох. Я стоял и смотрел. Из толпы. Мне было страшно. Я боялся, что если заступлюсь, сожгут и меня. И я ничего не сделал. Я стоял и молчал. И это молчание горит во мне каждую ночь.

Фома опустил на корточки рядом с Марком. Его большие, узловатые руки легли на колени. Руки, которые знали, как держать меч, как копать землю, как ломать кости.— Я не спасу её ради тебя, Матвей. И не ради Бога. Бог молчит уже месяц. Бог отвернулся от нас. Я спасу её, потому что если сегодня снова буду стоять и смотреть, то завтра сам лягу в эту сырую землю. И мне будет нечего сказать Ему, когда Он спросит: «Почему ты молчал? Почему ты позволил сжечь невинную?». Одевайся. У нас мало времени. До рассвета два часа. Два часа, чтобы успеть туда и обратно. Или умереть.

Он бросил Марку связку ключей. Тяжёлых, железных, покрытых ржавчиной, связанных грубой верёвкой, которая пахла потом и страхом.— Откуда? — выдохнул Марк, глядя на холодный металл, который блестел в тусклом свете площадки.— Ключник мёртв уже два дня. Чума. Я снял их, пока его тело ещё не остывало и не начало разлагаться, пока мухи не успели отложить яйца. Идём. Пока я не передумал. Пока мой страх не стал сильнее моей совести.

Они вышли в коридор. Вязкий, давящий ритм монастыр-

ской ночи обволакивал их. Шаги гасли в толстом слое пыли и соломы, разбросанной по коридорам, чтобы впитывать грязь и запахи больных. Воздух становился плотнее с каждым пролётом лестницы. Если наверху пахло ладаном и болезнью, то здесь, спускаясь в брюхо здания, царил запах сырой земли, крысиного помёта, плесени и древнего, застоявшегося страха. Этот запах был физическим. Он лип к коже, забивал ноздри, вызывал тошноту, желание выbleвать всё, что было в желудке.

Фома шёл впереди. Широкая спина заслоняла тусклый свет плошки. Он двигался не как монах, привыкший к тишине и плавности движений, а как солдат — точно рассчитывая каждый шаг, проверяя доски пола на скрип, прислушиваясь к эхо своих сандалий, к каждому шороху в темноте. Марк следовал за ним, цепляясь за влажные стены. Камень был мокрым, покрытым скользкой слизью мха и грибков, которые жили здесь веками, питаясь сыростью и смертью.

Они миновали кухню, где в остывших очагах мерцали красные угли, похожие на глаза зверей в темноте, наблюдающих за ними. Миновали винный погреб, откуда тянуло кислым, перебродившим запахом пролитого вина и гниющих яблок, запахом праздника, который давно закончился. Спускались всё ниже. Лестница сузилась, превратившись в узкую щель в камне, где двум людям было тесно идти рядом. Потолок опустился так, что Фоме приходилось пригибать голову, чтобы не удариться макушкой о свод, чтобы не поднять

шума.

Внизу, перед тяжёлой дверью с узким зарешеченным окном, сидели двое. Послушники. Совсем мальчишки, лет пятнадцати, закутанные в старые, дырявые одеяла. Они дремали, привалившись друг к другу, головы склонены на груди, руки безвольно лежали на коленях. Рядом с ними лежали дубины — простые, грубо обтёсанные палки, которыми можно было сломать череп одним ударом.

Фома остановился. Овернулся к Марку. Приложил палец к губам. Затем достал из-под рясы маленький глиняный кувшинчик. Открыл пробку. Запах ударил в нос — резкий, одурманивающий, сладковато-терпкий. Сонное зелье? Валериана? Мак? Смесь трав, которые знала мать Фомы. Травы, которые усыпляли боль, усыпляли страх, усыпляли совесть.

Фома смочил тряпку жидкостью из кувшина. Подошёл бесшумно, как тень, как призрак, к спящим мальчикам. Положил мокрую ткань им на лица. Те дёрнулись во сне, вздохнули глубоко, втягивая пары, и обмякли окончательно. Их дыхание стало ровным, тяжёлым, глубоким. Они не проснутся часами.

Фома махнул Марку. Руки Марка дрожали, когда он выбирал ключ из связки. Первый — большой, ржавый, похожий на паука — не подошёл. Второй, поменьше, вошёл в скважину с трудом, со скрипом, как будто металл сопротивлялся. Марк повернул его. Замок провернулся с противным, сухим скрежетом металла о металл, от которого Марк зажмурил-

ся, ожидая криков сверху, шагов стражи, шума, тревоги. Но тишина осталась вязкой, нетронутой. Только эхо скрежета пробежало по каменным стенам, затихая в темноте, как последний вздох умирающего.

Замок поддался. Дверь качнулась внутрь, открывая чёрный прямоугольник проёма, из которого пахнуло холодом и чем-то ещё. Чем-то живым.

Карцер был не комнатой. Это была дыра в земле, выложенная грубым, неотёсанным камнем, высотой не больше четырёх футов. Стоять в полный рост невозможно. Нужно было согнуться, стать меньше, незаметнее. Пахло здесь иначе, чем в коридорах. Не смертью. Не болезнью. Живым, горячим, испуганным телом. И травами. Даже сквозь смрад сырости, плесени и человеческих экскрементов пробивался слабый, почти неуловимый аромат — полынь, мята, зверобой. Запах жизни, которая сопротивляется. Запах надежды, которая ещё не умерла.

В углу, на голом каменном полу, свернувшись в тугой ком, лежала фигура. Маленькая, хрупкая, кажущаяся беспомощной в этой каменной клетке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.